

Виктор Коростышевский



**За веру,
царя и
Отечество**

Москва 2014

12+

Виктор Коростышевский
За веру, царя и Отечество

«ЛитРес: Самиздат»

2014

Коростышевский В. Я.

За веру, царя и Отечество / В. Я. Коростышевский — «ЛитРес: Самиздат», 2014

Большинство персонажей этого исторического романа жители подмосковных деревень Куркино, Юрово, Машкино, Филино с подлинными именами. Двадцать пять крепостных крестьян были отданы помещиком в ополчение и стали участниками Бородинского сражения 1812 года. События, описанные в романе, основаны на архивных материалах и находках автора. В книге немало фактов и версий, которые раньше никогда не освещались в отечественной литературе.

© Коростышевский В. Я., 2014

© ЛитРес: Самиздат, 2014

ПРОЛОГ

Светлейший князь Сергей Александрович Меншиков не жаловал Санкт-Петербург. В этом блестящем, продуваемом сырыми ветрами городе, жить его обязывало положение действительного тайного советника. Однако же в Непременный совет (позднее названный Государственным) его, генерала, участника нескольких военных кампаний, так и не пригласили. Поначалу приходилось обманывать себя, что причиной тому был изрядный возраст, но... к чему лукавить перед собой. Безродный придворный стихотворец с татарскими корнями был постарше его годами, но, вишь ты, сладкозвучными виршами проложил себе головокружительный путь на Олимп. Но звонкие стишки писать – это не государством управлять. Не сумел пиит, наместник Олонецкий и губернатор Тамбовский отучить местную знать брать взятки. Видно, бойкие рифмы оказались слабым средством против жадности человеческой. Потому-то бежал любимец царского двора от хамоватых непуганых провинциальных мздоимцев обратно в Санкт-Петербург под крылышко прославляемой им Екатерины Петровны. Свою неудачную попытку государственного управления пиит компенсировал новой одой во славу императрицы «Гром победы, раздавайся!» И теперь этот златоуст сидел в парадных позументах в Государственном совете, а он, светлейший князь Меншиков, к 1812 году фактически оказался не у дел.

Ничто не радовало в Санкт-Петербурге царского сановника: ни дворцовые приемы, ни прекрасный вид на Неву из окон собственного дворца на Васильевском острове, ни уникальная домашняя библиотека, ни карьера детей...

Собственно, успешную карьеру делал только старшенький, Александр – в 25 лет блестящий полковник, флигель-адъютант государя, умен, находчив, остер на язык, объект воздыхания многих фрейлин двора. Младший, Николая, словно из другого теста сделан: совершенно равнодушен к чинам и званиям, может потому в свои 22 всего лишь поручик при командующем Петре Ивановиче Багратионе.

Князь вздохнул, разрезая очередную страницу роскошного тома в кожаном переплете о боевых подвигах графа Суворова-Рымникского. Мысленно принял решение: «Всё, завтра же еду в Москву. Эта затяжная балтийская весна плохо на меня действует. В Черемушках сейчас, наверное, благодать!».

Село Черемушки-Знаменское генерал приобрел в 1783 году на взлете своей карьеры. Усилиями датского архитектора Вильстера там был возведен величественный дворец с колоннами, портиком, куполом и прочими архитектурными изысками. Князь считал эту усадьбу прекрасным местом для уединения.

Какие разные представления у людей об уединении! Одному вынь да положь глухой таежный скит, а другому достаточно дворца с двумя сотнями холопов и челяди, непременных приживалок и всевозможной родни до седьмого колена. Что тут скажешь – у каждого свой вкус.

Парадный въезд в усадьбу со стороны Москвы украшал светлый березовый «*прештек*» длиной с версту – само олицетворение государственного величия светлейшего княжеского рода Меншиковых. Другой конец проспекта выводил на просторную площадь, крытую брусчаткой – конный двор с причудливыми башнями в китайском стиле. Манеж, лошади, выездка – это был предмет особой гордости хозяина.

Любимое занятие после завтрака – прогулки по «английскому» парку, в котором нарочито затейливо пересекались извилистые аллеи и тропинки, где в укромных местах располагались беседки, насыпные горки, где стояли восхитительные своей бесполезностью ажурные ротонды.

Были в усадьбе, кроме конюшен, большая псарня и внушительных размеров птичник, ибо в России каждый уважающий себя помещик обязательно должен был иметь свору борзых собак и индейских петухов – индюков.

В центре Москвы на Никитской Меншиков имел просторный каменный дом, который оживал только во время деловых приездов князя в первопрестольную.

Но самым дорогим и любимым местом Сергея Александровича было, конечно, родовое гнездо, овеянное легендами и мифами, где столетние клены и вязы оберегали тишину необозримого пространства, где в темном зеркале озера отражался монументальный дворец в стиле модного барокко, построенный гениальным дедом Александром Даниловичем Меншиковым, сподвижником Великого Петра. И пусть злые языки в завистливых столицах болтают, что Алексашка до встречи с молодым Петром был всего-навсего вороватым базарным торгашом, но это неправда. В роду Меншиковых любили говорить, что *«от осинки не родятся апельсинки»*, а самородок Александр Данилович был ещё тот «фрукт». Как ни крути, но из истории пикантный факт не выбросишь: Петр Великий свою подружку, будущую императрицу Екатерину I, увел в свои покои из дома Меншикова...

Алексашку с Петром сам черт лычком связал, иначе цареву любимчику не сносить бы отчаянной головы в битвах не столько ратных, сколько закулисных. Не зря Александр Данилович дослужился до генералиссимуса. Значит, были в нем сверхъестественные задатки.

Как гласит одна из легенд, которой одни верят, другие нет, Петр I весьма оригинально одарил своего преданного слугу за совместные ратные победы. Молодой фаворит ещё не имел никакого поместья, был гол, как сокол. Тут ему Петр и сказал: «какой круг на коне за день проскачешь, то твое и будет». Выбрал Алексашка самого резвого коня, с нетерпеливой дрожью сел на него верхом возле кривого озера, похожего очертаниями на беременную русалку, перекрестился и помчался сломя голову...

Вот уже позади глухая деревенька Китенево, мимо пролетело зажиточное Степанцево, далее военных корней село Дурасово, хлебные нивы Овсянниково... «Всё, всё моё будет!» – задыхаясь, шептал Алексашка. От коня уже пена летела во все стороны, несчастное животное хрипело, ёкало селезенкой, а всадник в азарт вошел, рычит по-звериному и плеткой бьет коня без устали. Через три речки перемахнули – даже не заметили. Вот на горке показалось веселое Свистуново, теперь бы ещё на Глухово повернуть...

Ах, незадача! Упал вдруг конь, как подкошенный, заржал тонко и тоскливо. Широко разбрасывая копыта, он пытался ещё подняться на ноги, но сил у животного уже не было. Из обреченных бархатных глаз коня текли крупные слезы... Сам всадник при падении едва жив остался.

Не пожалел Алексашка в тот судьбоносный день ни коня, ни себя – нахрапист и жаден был, за что не раз терпел рукоприкладство от самого Петра.

Одним конём всего поля не изъездишь, но отмахал Меншиков в тот день немалый круг и обширные земли под Клином вырвал-таки из царской казны, которые с тех пор так и назывались – Круг. Бескрайняя орань распростерлась по пустоцветной зелени нетронутой земли, терпеливо ожидая своего сеятеля. И дождалась...

Имение же, конечно, нарекли Александровым, и дворец там отгрохали всем на зависть. С тех пор Александр Данилович ни в чем удержу не знал...

Когда-то звание князя было на Руси наивысшим. Киевский князь, которому подчинялись все русские князья, повелел добавить к своему титулу слово «великий». Сказано – сделано! Стал он великим князем.

Многие князья потом захотели себя великими называть! В конце концов, великий князь Иван IV, он же Грозный, желая выделиться из толпы великих, объявил себя царем...

Петр I пошел дальше – стал именоваться императором, давая понять заносчивой Европе, что владеет не каким-нибудь потешным царством, вроде Македонии, которое Алексашка бы за день на лошади обскакал, а бескрайней – за год не объехать! – великой империей.

Желание подняться над прочими равными никогда не угасало среди императорской знати. Сановник, получивший из монарших рук графский или баронский титул, тут же начи-

нал мечтать о княжеском звании. Нет предела честолюбию, особенно у людей холопского происхождения.

В общем, выторговал Александр Данилович у своего покровителя новый титул, доселе невиданный, открыв тем самым в России дорогу *светлейшим* князьям. Потом-то их, светлейших, тоже много стало, но первый тем и незабываем в истории государства, что был первым.

В одном только не повезло любимчику фортуны: умудрился он пережить своего высокого покровителя, и однажды неосторожно оступившись при новой власти, враз лишился всех своих тяжким трудом нажитых миллионов, неисчислимых пудов золота и серебра, алмазов и драгоценных камней. Пришлось сменить опальному сановнику великолепный дворец на темную избу в сибирском Березове, где и доживал он последние годы на казенном содержании – один рубль в день. Верная жена его Дарья Михайловна Арсеньева не перенесла трагических перемен в судьбе и умерла, не доехав до места ссылки: *близ царей жить – со смертью дружить*.

Недолгой была разлука Александра Даниловича с супругой. Умер он в сибирской глуши с чувством непоправимой вины перед собственными чадами, в первую очередь перед сыном Александром, разжалованным из обер-камергеров и сосланным в юные свои лета в ссылку вместе с отцом.

Но через четыре года власть в столице в очередной раз переменялась, колесо фортуны неожиданно скрипнуло и повернулось в нужную сторону. Старые интриги почившего в бозе светлейшего князя Меншикова уже никого не интересовали, а казнокрадство царедворцев и высших сановников никогда не считалось на Руси большим преступлением – скорее, привычным образом существования при дворе.

Юный наследник генералиссимуса, некогда разжалованный обер-камергер, Александр Александрович был восстановлен в правах, большая часть конфискованного имущества и усадеб были ему возвращены, и закончил светлейший князь государственную службу полным генералом.

После благопристойной смерти генерала девяносто тысяч крепостных душ, сотня больших и малых деревень, среди которых безнадежно затерялись Юрово и Машкино, а также родовая усадьба Александрово в Клинском уезде, перешли следующему колену: светлейшему князю Сергею Александровичу, генералу и сенатору. Он оказался достойным продолжателем рода и прибавил к богатейшей недвижимости Меншиковых свою весомую лепту: один дворец в Черемушках чего стоил! Было что оставить в наследство двум своим сыновьям, за которыми пристально следили барышни в петербургском свете. И дочери сенатора тоже были завидно богатыми невестами...

В Москве настроение и самочувствие светлейшего князя Сергея Александровича всегда улучшались. В Черемушках ему нравилось заниматься нескончаемым переустройством поместья, заполнять оранжереи редкими растениями, любоваться на конном дворе выездкой верховых лошадей. Дворовых людей вокруг каждого дела толкалось видимо-невидимо, кто ими руководил, кто проверял их работу – князь в такие тонкости не вникал. Управляла обширным помещичьим хозяйством специальная контора – толпа чиновников по всевозможным вопросам: налогам и податям, доходам и расходам, закупам и продажам, составлению ревизских сказок, да бог его знает, что там ещё требовалось...

Несколько раз в году перед светлейшим князем клали различные отчеты, справки, договоры купли-продажи, переселения крепостных крестьян, реестры Экономического департамента, постановления Надворного суда и прочая, и прочая – он, скучая, шевелил бумаги, что-то неотложное подписывал и, не затягивая процедуры, решительно махал рукой управляющему: «Всё-всё, иди голубчик, делай, что от тебя требуется, не надоедай».

Для ведения дел в вотчинах, разбросанных по различным губерниям, нанимали управляющих, обычно из немцев – законопослушных, пунктуальных и мелочных до тошноты. Их

хозяйственные отчеты можно было не проверять. Однако на должность управляющего Главной московской конторы старались найти из образованных русских мещан или разорившихся, но не потерявших достоинство, дворян. С единоверцами гораздо легче было договориться на счет составления нужных финансовых отчетов. Это так, к слову...

Вотчины свои, разбросанные по уездам и волостям, Сергей Александрович посещал редко, и если требовалось его личное вмешательство, он предпочитал вызывать управляющих к себе.

Однажды, проезжая по Петербургскому тракту, заглянул князь в Юрово, Машкино и Филино, бросил поверх серых соломенных крыш рассеянный взгляд, и молча покотился дальше. Управляющий сходненской вотчиной Гохман Альберт Карлович стоял на обочине в пояском поклоне до тех пор, пока карета не скрылась за поворотом. Секретарь светлейшего князя, пригостившийся рядом в карете, не дождавшись высочайших указаний, захлопнул пухлый журнал и убрал перо. Молчание барина было красноречивее слов. И то сказать: разор один, а не деревни. Вокруг тощие, малоурожайные суглинки, да и тех – с гулькин нос. И почему-то вечно вместо дорог непролазная грязь.

Последние полсотни лет земли эти на берегу Сходни делили между собой две переплетенные родством фамилии – Меншиковы и Голицыны. Во время эпидемии холеры в 1771 году случился большой урон: много крестьян свезли на погост. У Голицыных из 25 человек в Юрове осталась всего одна семья в шесть душ, Меншиковым повезло больше: из 136 человек только двенадцать схоронили. В Машкине дела обстояли тоже ни шатко, ни валко.

К началу 1812 года Сергей Александрович Меншиков выкупил у Голицыных их земельные доли, и, став единоличным хозяином этих деревушек, планировал открыть на берегу Сходни заводик или мануфактуру, понимая, что только местными промыслами можно привязать безземельных крестьян к деревне и увеличить собственные доходы.

Вообще-то предпринимательская деятельность в роду Меншиковых была наследственной. В Клинском уезде успешно работал стекольный завод и писчебумажная фабрика. А здесь, в долине Сходни, Сергей Александрович планировал осенью 1812 года построить мебельную фабрику. Или каретную. А скорее всего, ту и другую.

В 1798 году, (ещё при Павле I) была у него возможность прибрать к рукам и Куркино с его двумястами душами и белокаменной церковью Владимирской иконы Божией Матери. Недолго правивший взбалмошный, воспитанный в прусских традициях, Павел, придя к власти, щедро раздавал государственные надель в руки помещиков. Но недобрая репутация правителя, недовольство дворян и офицерства скоропалительными реформами, заставили осторожного Меншикова повременить с оформлением купчей, а после смерти заносчивого императора, повторившего судьбу своего несчастного отца, пришедший к власти Александр I быстро прекратил разбазаривание государственных (читай, царских) земель, а с ними и крестьян.

Догадывались ли куркинские крестьяне о возможных переменах в своей жизни – кто сейчас знает, но уж точно бы не обрадовались этому. Они платили казне необременительный оброк и получить вместо него самоуправную помещичью барщину, которую тянули соседние деревни Юрово и Машкино, совсем не мечтали.

Для живущих бок о бок деревень разновеликое ярмо было неутрачиваемым поводом раздора и зависти. Куркинские чванились своим положением «государственного» села, за что юровские шибко недолюбливали своих соседей, однако женихи и невесты из Куркина ценились гораздо выше машкинской голытьбы.

В Куркине истинных землепашцев было немного: добрая половина мужиков зашибала деньги на отхожих промыслах, а женская половина рукодельничала – разматывала кудели, пряла холстины, шила армяки и балахоны, вязала вареги.

Задумав открыть мебельную (или каретную) фабрику, Сергей Александрович Меншиков крепко рассчитывал на куркинских мужиков, и всё бы у него получилось, если бы не случившаяся война с Наполеоном в 1812 году.

СТАРОСТА

Глава 1

Пропели первые петухи – время перевалило за полночь. Вдоль Машкинского ручья, где по склонам оврага стелились густые, низкие травы, мышковали совы. Иногда они с легким шорохом низко пролетали над соломенными крышами изб и чья-нибудь беспокойная собака, задрав морду, настороженно тьякала на крадущуюся меж серебристых туч оранжево– хворую луну. Совы словно ударялись о невидимую преграду, сворачивали в сторону, и ночная тишина вновь безраздельно властвовала над спящей землей.

Весенняя пахота крепко выматывала мужиков. Короткий ночной роздых – и снова на весь день в поле, на тот самый день, что год кормит. Но пока ещё не пропели вторые петухи, тяжело ворочаясь, спит Куркино, безмолвствуют в предрассветном мороке Юрово и Машкино. Мимо них дремотно течет Сходня, укрытая на ночь невесомой кисеёй тумана.

Маленький одинокий огонёк костра долго плясал в ночной бездне оврага, но вот и он свернулся клубком, затих, и лишь малиновые мерцающие точки какое-то время продолжали сверлить темень, но потом и они пропали... Из сумрачной, пугающей глубины оврага чуть слышно доносилось пофыркивание лошадей. Как бы ни выматывала мужиков посевная страда, но лошадей они берегли пуще себя: ввечеру, забросив соху на непаханый целик, шли до дому пёхом, а распряженных лошадок тут же передавали подросткам в ночное.

Мальчишки у ночного костра, набросав в жаркую золу прошлогодней картохи, начинали пугать друг друга:

– Яшка, а правда за соседним лесом у Дивовых громом мужика убило?

Яшке четырнадцать, он тут старший, потому задумчиво

глядя на пляшущую над костром мошкару, неторопливо откликнулся:

– Люди бают...

Аким чуть младше Яшки, он живо вступил в разговор:

– Эка невидаль, громом убило. Мне бабка Ульяна каженьй день бубнит, что в безлунные ночи в старые пруды приходят купаться ведьмы. Кого на воде застанут – тот пропадает... Бойтесь, чтобы я в ночном на пруды не ходил...

Ефимке десять лет, он самый бедовый. По всему видно – не доживет до своей женитьбы. Отважно предложил:

– А пошли проверим!

Семилетние Егор и Васька испуганно смотрели друг на друга и зябко ёжились. Выручил Яшка:

– Ноне не получится. Вон какая на небе луница...

Яшке скучно. Он эти ночные байки давно знает. Но на сегодня у него есть кое-что новенькое:

– На севере в ледяной пустыне живет снежный человек, огромный, больше сажени ростом. Питается он только человеческой кровью... Много путешественников в тех краях сгинуло. Кого опосля находили – все белые, как снег, и ни одной раны на теле нет. – Яшка обвел притихшую компанию взглядом и закончил рассказ: – Мужики сказывали, недавно в тверских лесах снежного человека видели...

Ужас и тишина воцарились возле костра. Пламя уже едва шаманило над дымными головешками. Очнувшись, ребята потащили из золы печеное объеденье. И вскоре, сморенные пред-
рассветной зарей, все погрузились в короткий сон...

Парни старше пятнадцати уже считались в деревне мужиками – бывало, в шестнадцать и под венец шли, а уж женихались-то в такие годы непременно. Никакая усталость парней не брала. Придут с полей убитые, распаренные, что репа в печи, а смоят с просоленных плеч пот и грязь, набьют животы томленной овсяной кашей с коричневой корочкой – и будто заново народились. Допивая молоко, зыркали глазами в сторону крутого травянистого угора, – не опоздать бы на вечернюю гулянку.

Вот и Лешка каждую минуту в окошко поглядывает. По дороге, поднимая пыль, густо шли коровы, возвращавшиеся домой с пастбища. Мать, завозившись у печи, с опозданием спохватилась:

– Ой, Лешка, посмотри, какая корова первой идет?

Лешка досадливо отмахнулся: «Да ну тебя с твоими коровами!» ... Жители местных деревень Юрово и Машкино давно заметили: когда вечером впереди стада идет рыжая корова – это к вёдру, а когда первой идет чёрная – значит, завтра быть ненастью.

На угор Лёшку Афанасьева неудержимо манила сердечная смута – на свою беду влюбился он в Ирочку Терентьеву, дочку старосты сельской общины Куркино. Безнадежной была эта любовь. Юровские дружки беззлобно подначивали ухажера: «Не по себе сук рубишь, Леха! Куркинские девки отродясь за наших не шли».

Так-то оно так, да разве у любви есть разум, разве она понимает какие-то резоны, разве сердцу прикажешь? От одного взгляда васильковых глаз Ирины Алексей терялся и забывал всё на свете; целомудренная кротость девушки вызывала в нем неведомую нежность, сердце у него ныло и глухо билось о ребра от незнакомых желаний. Алексей не мог, да и не хотел противиться внутреннему зову, которое захлестывало его, и потому старался при каждом удобном случае блеснуть перед девушкой своей удалью и ловкостью в шумных горелках, размашистой лапте или отчаянной пляске. Веселой подначкой, грубоватой шуткой ему хотелось заслужить её улыбку. А Ирина будто и не замечала его стараний, не поднимала на него своих бездонных глаз, когда во время игрищ он случайно или нарочно оказывался рядом. А может, она нарочно дразнила его?

Нет, не замечал готовый на подвиги добрый молодец, чтобы зазнобушка отвечала ему встречной приязнью. Что уж тогда ждать от её папеньки? Он в Куркине – «голова», к нему всяк с поклоном идет. Такой папенька для дочки какого хошь жениха выберет, не чета Лехе будет. То-то куркинские задрыги на него внимания не обращают, не ставят на кулачки, не грозят вполголоса на вечерках: «знай, теленок, свой хлевок!» Своим молчаливым презрением намекают, что он «холоп господский» им – «государственным людям» – не ровня. Хотя, может и не совсем молчаливым. Не в его ли огород Ванька Архипов бросил на прошлой гулянке скороспелую частушку:

*Наши куркинские девки хоть малы да удалы,
и с чужими не гуляют, чтобы не было беды.*

Куркинские «копеешники» не землей – промыслом на стороне да извозом деньгу зашибают, приговаривая своё любимое: «не соха оброк платит – топор». На соседние деревни они смотрели свысока, вольным себя воображали, хотя вся их вольность только в том и заключалась, что сами себе хомут выбирали. А посмотреть на них, так в тех же зипунах и лаптях трусили за своими телегами...

Распаялся Алексей, но, остынув, понимал, что заполучить куркинскую невесту юровскому жениху было нереально – капиталов не хватит. За невесту выкуп отвалить надо, в волостную контору налог внести, подарки разные, а откуда у Лешкиной семьи деньги?

Конечно, работающие крестьяне и на проклятой барщине с голоду не умирали. Было немало и таких, кого барин отпускал на оброк, то есть на вольный промысел, но сколотить капитал, не приворовывая, не утаивая доходов, всё равно не удавалось. Главный крестьянский капитал – дети, особенно парни, на которых община выделяла земельный надел. Землицу, если её сам не пашешь, всегда внаем сдать можно. У Лешки вся семья – отец, мать, да дядька Иван – холостяк тридцати двух лет от роду. Им только заикнись про дочку куркинского старосты – на смех поднимут: «Нужен ты ей!..» Что правда, то правда – не нужен...

На вечерки Ирина последнее время приходила всё реже: мать её после недавней беды в семье занедужила, к тому же была на сносях: вот-вот родить должна, поэтому шестнадцатилетней Ирине пришлось всё хозяйство на себя взвалить – семью накормить, обстирать, скотину обиходить, за большой матерью ухаживать, и за младшими братьями приглядывать. Да разве за ними углядишь?

По случайному недогляду три месяца назад, когда февральский ветродуй, наконец, угомонился, шестилетний Ванечка провалился на пруду в проталину. Утонуть в неглубоком водоеме было мудрено, но после ледяного купания от жара и нутряного кашля сгорел мальчишка в считанные дни. Мать в голос рыдала, убиваясь по ласковому, как котенок, любимому сыночку. Соседки успокаивали Дарьюшку: «не терзай себя так, у тебя же в чреве плод растет, побереги себя хотя бы ради него».

За что напасти преследуют их? За какие прегрешения посылает им Господь одну тяжкую кару за другой? Не она ли хранила в семье любовь и добродетель, не она ли ревностно читала молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы, прося у неё милости и заступничества? Двумя годами раньше схоронили в семье другого сыночка. Мишке тогда едва минуло десять лет. Тем летом по всей округе косила людей черная оспа, не пощадила она и Мишеньку. Хорошо хоть других детей – Ирину, Филиппа и Ванечку – удалось уберечь. Много в позапрошлом году людей из окрестных деревень свезли на погост. Если вся семья разом умирала, бывало, всех сжигали вместе с избой.

И вот, не успело прошлое горе отболеть, свалилась новая беда – не уберегла, не спасла солнышко своё, Ванечку милого. Его мягкие льняные волосы Дарья гладила, пока её не оторвали, не увели от гроба. После похорон мать словно подкосили, слегла и уже не вставала – сил не было. А время текло быстро: вот уже на дворе «*Борис и Глеб – пора сеять хлеб*». Едва завершили пахоту и сев, подоспели у Дарьи роды – тяжелые, затяжные, беспросветные...

Петр побежал за повитухой – к деревенской знахарке и колдунье, вдове Марии Егоровой. Вместе они кое-как довели Дарьюшку до сумрачной баньки, где и предстояло ей рожать. Повитуха негромким, но уже каким-то незнакомым, потусторонним голосом приказала:

– Иди в дом, открой все двери и окна, не забудь с печной трубы выюшку снять. В бане я сама всё сделаю...

Хорошо, что Петр дочь Ирину с десятилетним Филиппом с утра отправил на другой конец села к старухе Праскеве Ивановой, крестной Петра. Рано видеть малыцу, с какими муками приходят на свет дети.

Дарья натужно выла, пугая оцепеневшего от тоски и бессилия мужа. Стоя во дворе и ухватив побелевшими пальцами жердину изгороди, он глядел на небо и шептал молитвы. Повитуха Мария, сочувственно глядя на роженицу, привычно шептала заговоры: «*Матушка Соломония, возьми ключи золотые, открой роды костяные рабе Божьей Дарье...*» и, окуная руку в лохань с колодезной водой, щедро кропила корчившуюся от боли женщину. Мучениям роженицы не было конца, роды всё больше вызывали у повитухи тревогу, и она, опасаясь за исход, кликнула Петра:

– Беги-ка, милый, в церкву, проси батюшку Александра открыть врата в алтаре, да не оставит Господь без милости наши молитвы.

Священник внимательно, но неодобрительно выслушал просьбу очумелого от переживаний старосты, сострадательно посмотрел на Петра, молча вздохнул: «Эх, кабы не был ты старостой, никогда не стал бы потакать повитухиным суевериям. Не для вспоможения родам служат Царские Врата». Вслух, однако, ничего не сказал – в конце концов, пусть и неправильно, но его прихожанин к Божьей помощи обратился, и отказать ему в этом никак нельзя.

Дарье становилось всё хуже, всё чаще она проваливалась в бесчувственную пропасть, но повитуха была опытной, дело своё знала – ребенка вызволила из лона здоровенького. Перевязав своим волосом пуповину, обрезала её припасенным ножом на краю лохани, и стала кричащему комочку живой плоти разглаживать ручки, ножки, гладить животик, и особенно старательно водила руками по головке, чтобы *«придать ей правильную круглую форму»*.

– Красавец будет – пообещала повитуха измученному отцу.

Родился опять сыночек, но мать его даже подержать у груди не успела – умерла, так и не придя толком в себя. Повитуха промокнула будто бы сырые глаза и скорбно молвила, что сердце страдальцы не выдержало тяжких непосильных испытаний... Мелко крестясь, она шептала над остывающим телом:

– О, Господи, на всё воля Твоя! Прости душу грешную и прими её в Царствие Твоё... – и, словно застыдившись, что нет у неё приличествующих случаю слёз и причитаний, устало вздохнула: – *живучи на погосте, всех не утлачешь...*

Петр держал холодеющую руку Дарьи и не верил, что глаза её закрылись навсегда, что искушенные в кровь губы навеки застыли в болезненной гримасе. Он неотрывно смотрел на её лицо и беззвучно, тяжело плакал...

Подарков и угощений, обычных после счастливых родов, сегодня повитуха не ждала – какие уж тут подарки. Побежала в деревню искать для новорожденного мамку*...

Вернулась домой заплаканная Ирина с онемевшим от страха Филиппом. Со своей половины избы, с трудом переставляя ноги, приковыляли родители Петра. Посидели в тяжком безмолвии до глубоких сумерек.

Первой от обморочного горя очнулась Ирина. Она молча ушла в хлев обихаживать скотину, а старики, оплакав и отмолившись, начали готовиться к похоронам...

Со смертью матери ушли из жизни Ирины веселые девичники, завлекательные вечерки, игры на угоре. Когда-то доведется вспомнить ей о девичьем счастье, о любви, о суженом? Теперь на её руках Филипп и этот пищащий голодный комочек. Ирина боялась смотреть на отца.

Петр почернел, замкнулся, не веря до конца в случившееся. Не раз в сумерках обманывался, принимая легкую тень дочери за свою Дарьюшку. Похоронили её под сенью молодых черемух на общем кладбище. На отпевание пришло, считай, полсела. Повитухи возле гроба не было.

Родившегося в муках мальчишку назвали Сергеем.

* *мамка* – кормилица.

* * *

Потомственный землепашец Петр Терентьев извозом и промыслами на стороне не занимался, при этом умудрялся не бедствовать, и был в Куркине весьма уважаемым домохозяином. К лету 1812 года ему было полных сорок лет. В толпе мужиков Петр сразу выделялся непривычным отсутствием бороды и усов, словно и не крестьянином был, а земским чиновником. В чистой выбритости лица не было нарочитого умысла, просто не любил он волосатости на лице

– и всё тут. По молодости как-то отпустил бороду – и зарёкся. Ежедневный солёный пот, земля, пыль, навоз, солома – всё это за день так набивалось в волосяные заросли, что к вечеру кожа на лице зудела и горела огнём. Это барину, который пасьянсы раскладывает, да на дворовых покрикивает, борода не мешает. Рациональный даже в мелочах, Петр не любил приспособляться к обстоятельствам и решительно отвергал всё, что мешало жить. От мужицких грубоватых шуточек и подковырок он беззлобно отмахивался: *«не тот умнее, у кого борода длиннее»*. На сельских сходах и собраниях грамотного Петра слушали внимательно, и хоть он не бил себя кулаком в грудь и голоса не повышал, но последнее слово чаще всего оставалось за ним.

Немного мужиков на селе знали грамоту: не по книжкам деревня училась запрягать лошадей, пахать землю, ставить избу; тут уж одно из двух – либо тащить ярмо, либо книжки читать. Когда в избе семеро по лавкам – не досуг легкомысленной блажью заниматься.

В роду Петра ни дед, ни отец так не считали и всех мальчиков с десяти лет учили читать, писать и считать. В доме бережно хранились старые календари, в коих можно было найти не только правила исчисления дат церковных праздников, но и полезные советы по земледелию, уходу за домашним скотом и пчелами, и даже предсказания погоды. А уж забавные иллюстрации простонародного быта домочадцы обязательно показывали всем дорогим гостям. Зимней порой, бывало, Петр охотно почитывал детям занимательные исторические книжонки.

Всегдашняя опрятность в одежде, делали Петра ещё больше схожим с чиновным человеком. Его уравновешенность, неторопливые манеры порой раздражали мужиков и они, то ли в шутку, то ли всерьёз, не раз на спор пытались вывести его из себя, но – безуспешно. За эти «изъяны», в том числе за голый подбородок, прозвали его Налимом, хотя ничего общего с обликом этой рыбы у Петра не было: густые темно-русые волосы волной вставали над крепким, упрямым лбом; взгляд глубоко посаженных глаз казался таким пронизательным, что врать ему мало кому приходило в голову; хорошо очерченный рот, прямой крупный нос говорили о здоровой породе.

Обвенчался Петр в 25 лет, было это в 1795 году. Невесту нашел поблизости, в сельце Фирино, принадлежавшем, как и Юрово с Машкиным, светлейшему князю Сергею Александровичу Меншикову. Жила в Фирино со стариками сирота Дарьюшка Ильина, которая изрядно засиделась в девках – была ровесницей жениху. Невеста была целомудренна и пригожа собой, ростом вышла и статью, да только кому нужна безземельная бесприданница? Любовь любовью, а без корысти и лошадь никто не поспешит запрягать. Те, кому в жизни красивые девки не достались, любят утешительную присказку: с лица не воду пить.

Петру во время первой случайной встречи с Дарьюшкой словно кто шепнул – вот она, твоя судьба, и он, не раздумывая, заслал в Фирино сватов, наделав переполоху в доме стариков Ильиных. Честь для бесприданницы была такая, что завистливых пересудов тогда на целый год хватило. Заплатил Петр помещику Меншикову за невесту изрядные откупные, да и бурмистра сельца Фирино пришлось ублажить, чтобы не чинил каких каверз (тот давно уже втайне от своей женки блудливо, как мартовский кот, смотрел на незамужнюю, беззащитную девку) ...

Тут, пожалуй, самое время сказать несколько слов о бурмистре, ибо другого случая может и не предвидеться. Звали его Фрол Евдокимов, из местных филинских мужиков. Жилистый, крепкий, роста выше среднего, телом худой, неширокий в плечах, вечно хмурый, он был похож на старого журавля, хотя ему всего было лет сорок пять. Редкие волосы, прямые и жесткие, как усики ржаных колосьев, едва прикрывали серую кожу головы. Прозвище Жила дала ему деревня совсем не за сухопарость, а за неистребимую привычку урвать всё, что плохо лежало. Правда, после назначения бурмистром так его в глаза уже никто не называл, хотя дурные склонности обострились ещё сильнее. Из-за сутулости острый, в сиреневых прожилках нос, вечно смотрел в землю, а маленькие черные глазки, наоборот, – поглядывали снизу вверх. Невзрачная редковатая, словно побитая морозом, бородка делала лицо бурмистра и вовсе малопривлекательным. При первом знакомстве немудрено было ошибиться и посчитать его

человеком слабым, незначительным, но это впечатление быстро проходило. В селе бурмистра побаивались: рука у него была тяжелая, часто безрассудная, особенно, когда он без меры уходил в загул.

При редких появлениях в Филине инспекторов московской конторы, (сам светлейший князь вотчину на Сходне посещениями не баловал), Фрол разительно менялся. И откуда только у него способности к лицедейству брались:

– Милостивцы вы наши – говорил он нараспев и с таким умилением на лице, что гости от неловкости отводили глаза в сторону, – наконец-то вы к нам пожаловали! – Протяни ему в этот момент кто-либо из гостей руку, он бросился бы её лобызать усерднее, чем руку священника перед причастием. – Да что же это вы не известили меня о вашем приезде, уж бы я вам апартаменты заранее приготовил, и закусить с дороги-то горяченького... Ну да мы сейчас быстро!.. Ах, счастье-то какое! Ай, гости дорогие!..

Гости, смущаясь бесцеремонным напором, вяло сопротивлялись:

– Ты, Фрол, давай потише, и так всё хорошо...».

Но Фрола уже было не остановить:

– Милостивые государи! Дак для кого хорошо-то? Для нашего брата, мужика, хорошо, а вам, господа... Ах, милостивцы наши! Сейчас, сейчас, уж мы быстро расстараемся...

Меж тем, всё вокруг приходило в движение: кучер заводил лошадей на двор, конюх бежал с охапкой сена, девки металась из чулана на кухню, жарко пылала печь, гостей заводили в дом, снимали с них шубы или шинели, заливали воду для чая в «белые» чугуны.

Не спеша обедали, затем, никуда не расходясь, вечеряли, потом долго пили чай. Инспекторы расспрашивали бурмистра о видах на урожай, об умолоте, сколько людей умерло, сколько родилось, убыло или прибыло по замужеству и прочее. Все сведения подробно записывались в разные ведомости. Только по сбору оброка ничего не обсуждалось – недоимок у Фрола не бывало. За столом никто из домочадцев, кроме самого Фрола, никогда не присутствовал, жена вместе с девками только изредка осмеливалась что-то молча принести или унести...

Утром бурмистр в синем армяке, подпоясанный красным кушаком, в дегтярных сапогах показывал гостям господское хозяйство: гумно, ригу, овины, сарай, скотный двор; затем шли на мельницу, оттуда на поля. Гости были довольны – кругом царили порядок и радение.

Гром грянул через пять лет – убили Фрола Евдокимова. Следствием было установлено, что мужики давно имели зуб на своего бурмистра – почти все оказались его должниками. Мзду убиенный брал по каждому поводу, ввёл на селе собственную трудовую повинность. Земли в аренду и без аренды нахапал немеряно, батрачили на него и свои мужики, и пришлые со стороны – бурмистр в Тверь и Вологду собственные обозы зерна гонял. Самых строптивых из молодых мужиков Жила забривал в рекруты, о сельских сходах и слышать не хотел – грозил расправой. В общем, кончилось у народа терпение...

Убийцу долго искать не пришлось: сам пришел с повинной. Им оказался Федор Дмитриев, одинокий шестидесятипятилетний старик, который даже своей избы в Филино не имел, жил Христа ради квартирантом у вдовой старухи. Следователь долго недоумевал, как немощный инвалид смог зарезать крепкого бурмистра, но других признаний раздобыть в деревне не удалось.

За такое преступление полагалось пятнадцать лет каторги и вечная ссылка. Никто не знает, доехал ли убийца до Сибири, или в дороге отдал Богу свою святую душу, но сход в Филине вздохнул облегченно и постановил: каждый день в течение года ставить в церкви свечку во здравие (или за упокой?) раба Божьего Федора Дмитриева...

* * *

Батюшка Георгий Иванов, который венчал в церкви Владимирской иконы Пресвятой Богородицы Петра Терентьева и Дарью Ильину, в знак особого расположения подарил молодым иконку святых муромских чудотворцев Петра и Февронии, давая тем самым знак жить им вместе долго и счастливо.

Жену свою Петр любил, напрасным словом не обижал, хотя в повседневных тяжких заботах холить её да беречь не получалось, да и не принято было в крестьянской семье нежности говорить. Это господа любят под ручку прогуливаться и, прикрывшись от солнца зонтиком, преувеличенно восхищаться цветочками или птичьими трелями...

Год спустя родился у Петра и Дарьи первенец – дочь Ирина; роды были непростыми, не только роженица, но и повитуха вся извелась. Со временем страдания забылись, уступив место семейным радостям. Через четыре года в семье появился горластый Мишка, который, чуть подросши, выбрал объектом своего тиранства и привязанности старшую сестру. Вслед за Мишкой через два-три года в доме появились новые мужички: Филипп, затем Ванечка. Дом, как говорится, стал полной чашей – в прямом и переносном смысле.

На своем земельном клине Петр высаживал рожь и горох, меняя их время от времени местами. Вокруг избы на широких унавоженных грядках в изобилии росли овощи, над которыми стражниками, высоко задрав головы, стояли подсолнухи. В хозяйстве держали бойкую нестарую кобылу, бодливую, с подпиленными рогами корову, которая каждый год исправно приносила здоровый приплод. К зимнему убою растили на сало и мясо хавронью, а то и две; по двору бродили пестрые куры, за которыми с крыльца наблюдал вечно сонный кот. В просторных хоробах, которые поставил ещё его отец, жили все вместе: и старики, и молодое семейство Петра. Жить бы поживать Петру Терентьеву со своей Дарьюшкой до глубокой старости, как прожили его родители, да видно на небесах бездушных крючкотворов тоже хватает.

В канун 1812 года за два месяца до проклятого купания сына в пруду, случилось на селе Куркино и в жизни Петра важное событие. Но обо всём по порядку.

Отпраздновав Рождество, собрался в Куркине мировой сход – выбирать старосту; событие это случалось раз в три года. Каждого претендента сход обсуждал вдоль и поперек, выворачивая наизнанку и рассматривая его со всех сторон. Тут не стеснялись такое вспоминать и говорить о человеке, что в другое время не решились бы произнести вслух.

Сход мог длиться не один день и страсти на нем принимали порой весьма грубую форму; до драки, правда, старались дело не доводить. Если «старую голову» оставляли при власти, то всё проходило проще, однако в этот раз предстояло выбрать нового старосту:

Терентий Василич, отец Петра, который несколько сроков подряд нес свой крест, подал прошение об отставке. По большим годам и нездоровью стали ему обременительны поездки в чиновничьи приказы, сбор налогов, улаживание дел в сельской общине. Жена его, Анна Матвеевна, тоже была по тем временам в глубокой старости – шестой десяток завершила. Хотелось старикам отмерянный богом срок спокойно дожить возле домашнего очага рядом с внуками, сыном и снохой.

Сельчане хорошо относились к старой «голове» – Терентий Василич не слишком злоупотреблял властью. Не было внутри сельского мира и больших раздоров – редко какой вопрос не решался полюбовно на сходе. Каждый мужик знал: вмешается волость или суд – обойдется дороже.

Накануне схода вечером, сидя возле теплой печи, Терентий завел с сыном серьёзный разговор:

– Сдается мне, что общество тебя на старосту метит. Как ты, не откажешься?

Петр давно ждал такого разговора.

– Не откажусь, но многое хочу поменять в наших устоях.

Терентий Василич поперхнулся, долго откашливался, не спеша поменял лучину, потом удивленно, с недоверием посмотрел на сына.

– Поменя-я-ть?! В усто-о-ях?! – Терентий Василич не верил собственным ушам: – Это что, например?

– Например? Да вот хотя бы распределение земли по тяглам. Разве нынче справедливо получается? У Петра Рябого пятеро едоков: он с бабой и три девки. Ему один надел земли выделен. У вдовы Феклы Ивановой тоже пять едоков – она и четыре сына. Старшему лет пятнадцать, остальные мал мала меньше. Им по закону четыре надела отрезали, а они и одного толком не обрабатывают.

– И что? Испокон веку так было. Девки пряжу ткут, одежду шьют на продажу – вот у них и доход. Ты не забывай, что с девок Рябой подать не платит, а Фекла за всех своих малолеток в казну копейку сдает. Она свою землю в аренду кому отпишет – чем не доход, пока парни малы?

Но Петра с мысли не собьешь, у него своя правда:

– Шитьё одежды, аренда – всё это слёзы, а не доход. Что с земли взял, то и доход. Ты, тятя, посмотри: и Рябой из нужды не вылезает, и Фекла одну жменю на пятерых делит. И всё по закону. Это, по-твоему, справедливо?

Терентий пересел в красный угол под образа. Долго молчал, сердито сопя. Потом угрюмо поинтересовался:

– Ещё какие новшества надумал?

– Да вот взять ту же подушевую подать. Далеко не каждое тягло с платежами в срок укладывается. Ты ведь что собрал – то и сдал. Так? А должники как?

– Известно, как. За просрочку им пеня полагается.

– Вот-вот, они с этими долгами, пенями, штрафами, словно в трясине вязнут. Не сумел выкрутиться – судебный урядник последнюю корову или лошадь со двора уведет. Куда потом несчастному хозяину деваться? В батраки идти? До конца своих дней горе мыкать? Посмотри, сколько в Куркине бездомовых людей к чужим дворам прилепилось, а ведь все когда-то свой дом и семью имели.

– Я что-то, сынок, не пойму, ты к чему это клонишь?

– А к тому, тятя, что получается мы не общиной живем, а каждый сам по себе. Мужичьего полу в Куркине примерно сто душ, оброк с каждой – шесть рублей с полтиной, так? Надо и платить в контору сразу шестьсот пятьдесят рублей. И не будет никаких штрафов.

– Погоди, погоди! Ты, значит, недоимцам вздумал жисть облегчить, захребетников плодить хочешь?

– Нет, конечно! Сегодня мужик в трудное положение попал, а завтра он общине долг вернет. Проруха-то с каждым может случиться. Взаимовыручка нужна.

Помолчали. В избе тихо, словно кроме отца и сына никого и нет. Никто из домочадцев ни единым звуком не мешал их беседе. Да и не беседа это, а разговор судьбоносный. Чуть слышно потрескивают сухие смолистые лучины, роняя угольки в сырую лохань. Вдыхает старая Анна Матвеевна, переживает за сына – эх замахнулся – устои менять надумал...

Терентий Василич снова начал негромко говорить:

– Нехитрое вроде дело – подгнившие венцы поменять, но потеряешь осторожность и избу можно завалить. Боюсь, что сход тебя не поддержит.

Петр удрученно молчал. Уж если отец родной не понял и не поддержал его, что тогда можно ожидать от схода?

Терентий Василич с тяжелым предчувствием спросил:

– Это ещё не все новшества, что в голове держишь?

– Не все.

* * *

Сегодня старый Терентий последний раз главенствовал на сходе – это на селе уже не было секретом. Перво-наперво он поблагодарил односельчан за многолетнюю честь и гласно попросил отставку – так было положено. Никаких подсказок или советов по избранию нового старосты от него не услышали, а народ ждал и был уверен – скажет. Ну что ж, Терентия тоже понять можно...

С отставкой согласились без долгих пересудов. Если и были у кого претензии – чего теперь о них говорить? Гораздо важнее, кто сегодня во главе общины встанет.

Переглядывались мужики, хитрили, выжидали: кого первым назовут? Знали – первому несдобровать, первого толпа заклюет, словно стервятник голубя. Это уж потом, утолив кураж и накричавшись, попритихнут мужики, задымят самокрутками и, морщина лбы, будут думать о деле, потому как сход закончится только тогда, когда последний горлопан согласится с обществом.

А может ли такое быть, чтобы этот «последний горлопан», несмотря ни на что, так и не согласился бы с мнением полсотни других людей? Вряд ли!

Община – не клуб по интересам. Это сообщество мало улыбочивых людей, изнуренных тяжелой работой, обеспокоенных завтрашним днем детей, собственным выживанием и справедливостью внутри сельского мира. Еретика, пошедшему против «общества» мир объявлял бойкот. За дерзость и «независимость» смутьяну приходилось незамедлительно и тяжело расплачиваться, чаще всего – уходить из общины; уходить без земли – земля принадлежала всем, и никому лично. И корову изгоя пастись на общие луга уже никто не пустит – это собственность общины. За века не устарел смысл поговорки, простой и глубокой, как колодец: «*против мира не попрешь!*»

Но вернёмся к нашему сходу, исподволь закипавшему на холме, откуда дорога сбегала вниз к замерзшей Сходне.

– Давай в старосты Мартына Иванова! – наконец прозвучало первое предложение.

Котел забурился, накопившаяся в толпе энергия повалила наружу. Ирина Иванова – бойкая бабенка, жена Мартына (она стояла в толпе женщин чуть в стороне от мирской сходки) – невольно втянула голову в плечи. Из мужицкой толпы беспощадно понеслось:

– Он по мужской части слабак, с одной женой справиться не может, она по чужим овинам гуляет, а общество не жена, нас каждый день е... надо – окончание фразы утонуло в хохоте. Мартын стоял тут же, придурковато ухмылялся. А что ему ещё оставалось? Он старше жены лет на десять, ему под пятьдесят, и до баб он всамделе давно не охочий...

– Косму Прокофьева надо ставить! Он мужик хозяйственный! – кричит его шурин Никита.

Косма по деревенским меркам человек богатый – держит торговую лавку; ему далеко за сорок и он примерный семьянин. Если его торговлю и считать промыслом, то, в конце концов, не на стороне же, а в родном селе промышляет.

– Какой он на хрен мужик, торгаш хитрожопый! Чем наша жисть тяжелее, тем ему прибыльней! Шас запустим козла в огород! – и опять крики, хохот, возмущение...

На постороннего зрителя сход мог бы произвести впечатление случайно собравшейся толпы. В её вселенском гвалте невозможно было понять, о чем вообще идет спор, и тем более, невозможно представить принятие какого-то совместного решения. Но сами крестьяне отлично разбирались в шумной перепалке, ничего не пропускали мимо ушей, и по-другому мирской сход себе не представляли.

Вот над толпой пролетел ещё один клич:

– Хрипуна предлагаю в старосты!

Толпа вяло откликнулась: – Он лес ворует, как можно ему общественные деньги доверить?

Иван Архипов (Хрипуном его прозвали ещё молодым за сиплый, шершавый голос) зло прищурился: «А кто у барина Дивова его осины и березы не прихватывал? Помещику, кажись, о том и печали нет» ...

Всего-то чуть более полусотни взрослых мужиков в Куркине, а выбрать старосту – голову сломать можно: чтоб не пьющий был, не гуляющий, жил постоянно в селе, а не скитался шабашником по чужим волостям, чтоб здоровьем был не слаб и грамоте разумел, и не робел говорить при случае с властью. Про совесть и справедливость поминать было не принято – это уж как получится. Все понимали, что справедливости отродясь на Руси не было и, пожалуй, не будет никогда. Да и легко ли старосте быть справедливым, если половина села – свояки да шурины?

Лукавили, хитрили мужики, выкрикивая кого не попадя. Все уже до схода понимали, кого надо ставить старостой, да держали это имя напоследок, чтоб не трепать его зря. Наконец настал момент, когда шум скользнул к земле, выдохся, как зверь на гоне, и старейший участник мирского собрания шестидесятипятилетний Дмитрий Никитин, сдвинув лохматый треух на затылок, обратился к Терентию Василичу – пока ещё председателю «народного вече»:

– Что же ты, Василич, не предлагаешь сына своего, Петра? Али не договорился с ним? Не научил ничему? Не ручаешься за него?

– Потому и не предлагаю, что сын. Пусть народ сам решит, кому власть доверить. Может, для начала послушаем его самого?

Толпа зашумела: – Давай Налим... тоись... э-э-э... Петр Терентич, скажи своё слово! Всем миром просим!

* * *

Петр накануне почти всю ночь провел без сна, лежал и крепко думал, что он скажет миру? Многое пора менять, но поймет ли его народ, если даже отец не понял? Стоит ли баламутить напрасно село? Если сход не поддержит, станешь посмешищем на долгие годы – деревня неудачников не жалеет. Может ничего не надо менять и жить, как жили при царе Горохе?

Утро вечера мудренее. Вышел Петр на круг, поклонился:

– Земляки! Мужики православные! Если помыслы наши не богоугодны, то и дело начинать не стоит. А если богоугодны, то почему мы до сих пор их не сделали?

Мудреное начало всех обескуражило. Народ, конечно, понимал, что Петр грамотей, книжки читает, но зачем он заговорил, словно праведник в престольный день? Словно не на сельский сход сошлись старосту избрать, а с амвона проповедь послушать. Заныло сердце у старого Терентия. А Петр, оглядев настороженную толпу, продолжал:

– Вот мы вроде одной общиной живем, а взглянуть глубже – так каждый сам за себя...

– Ты, паря, не мудри, вышел, так дело говори!

– Я дело и говорю. Почему у нас тягло из пяти домочадцев имеет четыре надела земли, а другое, такое же – только один надел? А всё потому, что в одной семье парни родились, а в другой – одни девки. И то, что с баб подушный налог не берется – не великое семье облегчение. Когда пашня есть, налог не в тягость. Но справедливей было бы оброк брать с числа земельных наделов в тягле. Тогда глядишь, и Фекла Иванова со своими малолетками лишнюю землю добровольно сдала в общину, а Петр Рябой, наоборот, от прибавки бы не отказался. Наш главный закон какой? Землей владеет тот, кто её обрабатывает, – голос Петра окреп, зазвенел на морозце решительностью и убежденностью в своей правоте. От привычной мягкости и следа не осталось. Таким мужики ещё ни разу Петра не видели. Заулыбались, начали переглядываться.

Терентий Василич стоял, опустив голову, ожидая насмешек или взрыва возмущения. Но сход ошарашено молчал, застигнутый врасплох. А Петр начал уже говорить об уплате налогов в казну сообща, а не каждым домохозяином в отдельности, чтобы оградить сельчан от штрафов и произвола чиновников; о необходимости помогать немощным старикам и детям-сиротам...

– Ишь, чего выдумал, чтоб у меня голова не только о себе болела, но и про соседа, – сиплый голос Хрипуна узнали и ответили ему сразу в несколько глоток:

– От чего у тебя голова болит, это мы знаем... Со своим «промыслом» ты от тюрьмы да от сумы не отвертишься... От жадности своих стариков впроголодь держишь...

Но взрыва на сходе Терентий Василич всё-таки дождался – крикуны своего шанса не упустили.

В любой толпе всегда найдутся крикуны или баламуты – люди порченные. Они, словно грибы-поганки, которым не дано познать радость своей пользы в жизни, и потому каждый счастливый человек – им враг. Они нагло считают себя гласом народным, но никогда не выйдут лицом к народу, потому что за их словесной шелухой нет ничего, кроме личной корысти. В радость им – внести разлад в общее дело, посеять смуту и хаос, чтобы в мутной воде словить то, что им никогда не принадлежало. Они одинаково не любят всякую власть, их любимое время – безвластие.

Крикунов в толпе немного, человек пять – они стояли кучной стайкой, ухмыляясь и переглядываясь между собой. Нет, они не против предложений Петра Терентьева. Они без магарыча поступиться совестью не могут. Обсуждают Петра как бы между собой, но громко, чтобы все слышали:

– Налим-то нас за дураков считает! Старые законы менять нельзя – община рухнет, по миру пойдем! Если земель ещё и баб наделять – как пить дать, все переделуртся. Начитался грамотей книжек! Долой Налима! Долой!

Сход взорвался: крики, споры, сплошной мат-перемат, того и гляди стенка на стенку бросятся. Запахло мордобоем. Вороны, сидевшие поблизости в ожидании поживы, разом взлетели и шарахнулись в разные стороны. Собаки, поджав хвосты, отбежали от распаленной толпы подальше; подростки с любопытством и страхом выглядывали из-за церковной ограды, маленькие начали плакать.

Ох и заварил сынок кашу! Терентий Василич беспомощно махнул рукой и заковылял прочь. Только с наступлением темноты страсти в селе поутихли; мужики, переходили из одной избы в другую, пили сивуху, заедая квашеной капустой, вареной свеклой, солеными огурцами. В домах побогаче хозяйки выкладывали на стол ржаные ватрухи с картофлей, угощали жидким несладким чаем – гульба шла до утра. В тот вечер по избам в разных вариациях чаще всего звучало слово «голова». В доме Фаддея Иванова тоже шел полуночный совет:

– А ну как нас голова под монастырь подведёт, больно круто да шустро о новых порядках заговорил.

– Мне, Фаддеюшка, от его речей тоже смурно на душе, а попробовать хочется. Моему тяглу точно хуже не будет.

– Пойдем к Корнею Акинфееву, у него как раз одни бабы да девки, спросим, чего он-то своей головой понимает.

– Пошли! Известно дело – одна голова хорошо, а три никогда не договорятся...

– Да... как бы сгоряча дров не наломать, потом беды не оберешься...

На другой день посуровевшие с похмелья мужики собрались на холме к четырем часам пополудни продолжить сход и – удивительное дело – без шума и крика проголосовали за нового старосту – Петра Терентьева, понадеявшись, как это чаще в жизни бывает, на «авось» и на добрую репутацию его отца. Кому, как не ему, приструнить сына, ежели тот меру потеряет?.. Самое главное, чтобы новый староста самодуром не стал – дуракам власть хуже сивухи голову кружит, наизнанку человека выворачивает... Вот уж воистину неизвестно, что для села лучше – дурак или умник.

* * *

Жизнь общины ближе к весне, хоть и медленно, со скрипом, начала меняться. Петр создал совет из трех уважаемых селян, и трудные вопросы обсуждал с ними. Первым делом перераспределили земельные наделы между домохозяевами. Это коснулось всего-то трех семей, но стало «первой ласточкой» многообещающих перемен.

На очереди было создание мирской казны, которая превратила бы общину в кредитное товарищество. Смерть сына Ванечки стала первым ударом судьбы, которая и дальше немилосердно испытывала старосту на прочность.

Болезнь и кончина Дарьи тяжело придавили Петра, сделали его угрюмым, немногословным. Он молча уходил утром в сельскую контору, мотался по нескончаемым делам общины или пропадал весь день на своей пашне.

Возвращался поздно вечером домой, одиноко сумерничал под горящей лампадой. Старики с утешениями к сыну не лезли, понимая, что только время да хозяйственные хлопоты вылечат его от черной тоски. Легко ли мужику на сорок первом году остаться вдовцом с тремя детьми на руках? Собственные надежды стариков на спокойную старость при детях и внуках тоже рухнули в одночасье...

– В волость завтра поеду! – вставая из-за стола, бросил Петр в темноту. Из угла раздалось покашливание, затем хрипловатый голос отца спросил:

– Что за нужда?

– Индюк, управляющий Меншиковых, передал распоряжение волостного старшины.

– А за какой надобностью, не сообщил?

– Немец и знал бы, не сказал.

– Мудрый человек! Начальство не любит, когда вперед него языком молотят...

Поднявшись с первыми лучами солнца, Петр в легких портках вышел во двор, выпустил из курятника птицу, повернул на конюшню. Сытая, отдохнувшая кобыла Рыжуха, встретила его тихим ржанием и перестуком копыт – мол, к работе готова. Петр зашел в стойло, негромко скомандовал «*прими!*» и, ухватившись за недоуздок, похлопывая Рыжуху по спине, вывел её во двор:

– Ты тут пока травку пощипли, а я порядок наведу.

Он всегда разговаривал со своей лошадушкой, не сомневаясь, что она его понимает. Подхватив в углу вилы, Петр убрал в стойле навоз, остатки чисто подмел можжевелевой метлой и, скрутив соломенный жгут, протёр спину, бока и ноги своей верной помощнице.

Из головы не шел вопрос, который мучил его вчера вечером и ещё больше тревожил утром: «Что нужно от меня волостному начальству? До сих пор меня туда не вызывали. Серьезных недоимок за селом нет, а больше их, кажется, ничего не интересует... Ну ещё ратники, но это вряд ли...»

Не слишком часто, даже не каждый год спускали разрядку о призыве новобранцев на государеву службу, но никогда не делали этого летом. Неизвестность томила Петра, и он всё больше досадовал на чопорного меншиковского управляющего. «Ну что за народ, эти немцы? Десять лет проживут в России, и на вершок не становятся русскими! Для нашего мужика было бы зазорным новость не сообщить, а этот словом не обмолвился. Конечно, кто я ему – крепостной мужик, а он – важная птица, доверенное лицо светлейшего князя Меншикова».

Петр наскоро перекусил, натянул приготовленные с вечера чистые холщовые порты, рубаху из тонкого отбеленного холста с вышивкой по вороту, подпоясался узким кожаным пояском, приторочил к нему дорожный нож и фляжку. Постоял, подумал и сменил лапти на козловые без скрипу сапожки. «Словно свататься еду – невесело пошутил над собой, – ну всё, пора».

Во дворе беспокойно квохтали куры, старательно ощипываясь, словно к непогоде. Петр бросил взгляд на небо: погожее утро обещало теплый ясный день. Усмехнулся: «Что с куры взять – глупая птица!»

Петр быстро взнуздal Рыжуху, закрепил на лоснящейся хребтине легкое седло, вскочил на лошадь и выехал за ворота. Он не видел, как из сеней, провожая его взглядом, старая мать крестила пространство, в котором маячила удаляющаяся спина сына.

Миновав шаткий мост через Сходню, лошадь взнесла седока на высокий противоположный берег. Петр слегка потянул на себя поводья и оглянулся. Он любил отсюда смотреть на родное Куркино. Разбросанные по верху холма избы тонули в густых садах, лучи солнца падали на золотой купол храма, и чудилось, что внутри, в самом центре купола, сияет раскаленный огненный шар; синяя гладь неба с кучевыми облаками лежала на острых пиках лесной рати, которой ни слева, ни справа не было видно конца.

Над неспешно текущей Сходней таяли последние прозрачные клочья тумана, повторявшие своими изгибами русло запутавшейся в собственных петлях речки. Всё пространство луговой долины было наполнено веселыми трелями, любовными пересвистами, робкими воркованиями, деревянным шелканьем пернатых обитателей.

Петр расправил плечи, глубоко вздохнул и тронул поводья; послушная кобылка с шага перешла на легкую рысь. Впереди открывался ровный, поросший травой проселок.

Менее версты от Сходни в березовой роще замаячили обширные белоснежные господские хоромы Дивовых, окруженные пристройками, службами, мастерскими, конюшнями, каретными сараями, банями для господ и отдельно для прислуги. Чуть в стороне виднелись флигели для управляющего, его помощников, летние кухни и прочие нужные и не очень нужные сооружения.

Невдалеке от господского дома сверкала бирюзой церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, а за ней полукругом, едва видимые с дороги, расположились цветочные оранжереи. На площади в центре усадьбы, в окружении гостевых домиков стояли массивные, похожие на слона, качели с длинной отполированной доской, на которых многие юные дамы в обманных вечерних сумерках слушали пылкие признания молодых кавалеров.

Каждый, кто впервые попадал сюда, удивлялся редкому явлению природы: на границах усадьбы лиственная многоголосица осин, черемух, рябинок, вязов и дубков обрывалась, уступая место густому хороводу белоствольных красавиц. «Неужто лишь по причудливой барской прихоти появилась здесь эта березовая роща? – не в первый раз удивлялся Петр. – А что? С этого барина станет!»

Сенатор Андрей Иванович Дивов слыл большим оригиналом и чудачком, однако против истины не погрешим – культурный был человек. И гости у него тоже все культурные, городские – писатели, художники, артисты разные. Как соберутся, да загуляют – пальбу сумасшедшую устроят, фейерверки в небо запускают. Куркинские да юровские прямоком через лес бегут, к ограде прильнут и смотрят, похохатывая. Интересно! Господа как утомятся, петь начинают, чувствительно декламировать всяко-разное, а мимо господских окон ряженные в праздничные одежды крестьяне прогуливаются туда-сюда, туда-сюда, – комедь, да и только...

Петр усмехнулся, заметив стоящих на карауле дивовских сторожей... Березовая роща, в которой утопала усадьба, и гостевые домики, и даже часть крестьянских изб, была главной, но не единственной достопримечательностью хлебосольной усадьбы. В прилегающем лесу обильно росли подберезовики, подосиновики и прочее лесное добро. Рябчиков, по словам куркинских завистников, можно было руками ловить. Неугомонные соседи из-за Сходни не стеснялись сюда набеги делать, бересты, или липового лыка надрать, да и вообще... Дворовая челядь сенаторской усадьбы как могла, отбивалась от непрошенных гостей, и сам сенатор своей нелюбви к заречным соседям не скрывал – ничего, кроме беспокойства и разора, от них не было.

Утро быстро набирало силу; разогретый воздух наполнял лесные поляны запахом меда, причудливые полосы яркого света и густых теней скользили по лесной дороге. Вокруг всадника с гудением носились шмели, любопытные стекловидные стрекозы зависали над головой.

Рыжуха без понуканий бойко трусила по сухому проселку, усыпанному вдоль обочин хвойными иголками; копыта лошади поднимали над дорогой тонкое прозрачное облачко пыли.

Показалась Андреяновка. Здесь тоже когда-то была господская усадьба, а нынче холодным запустением веяло от брошенных строений. Видно, барин обосновался в другом месте и забыл дорогу сюда. Ставни господского дома, когда-то заколочены наглухо, со временем почернели, покоробились, обветшали и небрежно держались на изъеденных ржой гвоздях, а местами и вовсе были оторваны. От всего веяло унынием, как на заброшенном погосте. Высокое деревянное крыльцо, точеные растрескавшиеся балясины, обшивка дома были оторочены серым лишайником, расцвечены перламутровой гнилью. Маленькая часовенка в глубине двора зияла черными провалами окон. Перед фасадом, где положено быть веселым цветникам и клумбам, вымахал в рост ядовитый борщевик – трава забвения. Мощный каменный двор повсюду пробивала зеленая трава, которая не только не скрашивала картину запустения, но делала её особенно безысходной.

Однако и здесь, среди хаоса и разрухи, продолжалась жизнь: темные деревянные стены строения были облеплены ласточкиными гнездами – птицы не покинули родные пенаты. Поодаль, за зарослями бурьяна, виднелось несколько серых соломенных крыш, придавивших ветхие, полуистлевшие избы, в которых едва угадывалась чья-то угасающая жизнь. Ни одной трубы не торчало над крышами: избы топились по-черному. Угарный дым лениво уходил через волоковые окна. Ни одного голоса, ни одной живой души не обнаруживалось на желтом выцветшем пространстве деревни, ни один собачий брех не провожал прохожего. За неразличимой околицей ни полей, ни огородов – одни пустоши, заросшие ивой и колючими травами.

«А ведь между двумя усадьбами всего-то чуть больше двух верст. Там каждый день праздник, а здесь всё охвачено тленом. Может потому и съехал отсюда барин, что в тягость ему было терпеть под боком безудержное веселье чужого пира? Что же здесь делают несчастные брошенные люди?». Глухое безмолвие было ответом на грустные мысли. Даже шелест листы не ласкал здесь слух путника.

Петр слегка пришпорил лошадь каблуками, стремясь быстрее миновать угрюмое место.

* * *

От Куркино до Сабуровки, если по прямой, всего верст восемь будет, да ведь известно, что прямо только птицы летают. Петляя от деревни к деревне по пролескам и пустошам, обходя овраги, путь до волостного центра удлинится почти вдвое. Хватало времени у Петра, чтобы в дороге обо многом поразмыслить.

После похорон жены по селу поползли слухи, что староста от несчастий, свалившихся на него, стал не в себе, помутился разумом, и доверять ему решение общинных дел и уж тем более представлять интересы сельчан в чиновничьих приказах никак нельзя. Эти грязные наветы не замедлила поведать Петру сердобольная крестная матушка Праскева Ивановна.

В любой деревне есть свои смутьяны, охотники навести тень на плетень, и не ради какой-то правды, а просто по-другому им жить не интересно. Чем грязнее и непригляднее выставляют они соседей, тем лучше они сами себе кажутся. И вот ползёт грязный слушок от избы к избе, ему и не верит никто, но невольно начинают приглядываться к старосте: а вдруг он и в самом деле... того. И уже каждое лыко к нему прикладывают, походя косточки перемывают. И всё вроде бы не со зла, а так – весело позубоскалить, но Петр почувствовал – труднее стало с односельчанами разговаривать. У каждого во взгляде настороженное любопытство, а то и откровенная неприязненная усмешка. И ничего никому словами не докажешь, только хуже сделаешь. Но и промолчать нельзя, этак злопыхатели совсем страх потеряют, завтра не за глаза, а прилюдно оскорблять начнут.

«Это кому же я дорогу перешел, чего добиваются клеветники, за что зло держат?» – Петр терялся в догадках, а когда от близких людей узнал, откуда сплетня выползла, неприятно удивился: – от сына повитухи, Василия, сорокапятiletнего вдовца. Потому и живучим навет оказался, что вроде как не от пустоцвета Васьки-Килы исходил, а от его матери-повитухи, а той, мол, как не знать – она рядом с Петром была, когда Дарья умирала.

Кила был мужичонкой никчемным, жутко скаредным и по-черному завистливым. Лет десять назад извел он свою жену попреками да побоями; хотя на селе всем уши прожужжал, как он жену любил, а она, мол, потаскуха так и норовила под другого лечь, пока он на промысле деньгу зашибал. «Деньги» той, правда, никто в семье не видывал, если что и зарабатывал, то до избы не доносил, в кабаках просаживал. Но вернувшись с извоза, любил показать, кто в доме хозяин, часами допытываясь, сколько жена пряжи наготовила, что связала и где денежки от продажи варег да кружев.

После смерти жены Василий так и остался бобылем – ни в родном селе, нигде в округе не нашлось дуры, чтобы в рабство за него пойти. За годы вдовства мужик совсем обленился и опустился, неряшливая, свалывшаяся борода была вечно удобрена хлебными крошками и кусочками квашеной капусты; на заросшем мятом лице виднелись только крупный мясистый нос и слезящиеся, с красными прожилками глаза. Задубевшую на плечах рубаху и просоленные порты не снимал по месяцу. Время от времени Кила собирался куда-то на промысел, бубня своё любимое «не соха оброк платит...», на что матушка раздраженно его обрывала: «*от поры до поры вы все топоры, а пришла пора – и нет топора*». Устала Мария Егоровна корить своё неисправимое отродье, переживала только за внука Афанасия, чтобы не пошел он по стопам своего непутевого тятеньки, и потому делала всё, чтобы внук не чувствовал себя сиротой – была ему скорее матерью, чем бабкой.

Внук подрос, засиживаться в женихах не стал и в двадцать лет женился. Поселился с молодой женой на половине бабы Маши, а дверь на другую половину заколотил наглухо гвоздями. И понял тогда Василий, что не хозяин он больше в собственном доме; и от этой крутой перемены чувство царящей кругом несправедливости обострилось в нём ещё сильнее. Когда матушка вернулась из дома старосты без подарков и угощения, Кила посчитал себя лично обиженным и оскорбленным. В хмельной голове родилось убеждение, что Петр Терентьев, забывший святые традиции, выжил из ума. Вскоре об этом «прискорбном» факте от Васьки, как бы со слов повитухи, узнали соседи. Цена его пьяной брехни всем известна, но вот пошла же гулять байка по селу, потому как нет у людей приятнее занятия, чем за глаза свою ближнюю власть с навозом мешать.

...Вот уже и графское село Рождествено осталось позади, скоро на реке Синичке покажется Ангелово, оттуда до Сабуровки рукой подать. Рыжуха хорошо чувствовала своего хозяина. Когда он сидел в седле неподвижно, крепко задумавшись, она переходила на шаг, словно боясь растрясти его мысли, но как только седок начинал ерзать и шевелить стремянами, переходила на легкую рысь.

«Ладно, – Петр жестко усмехнулся, – я тебе, Кила, язык-то укорочу...»

Ангелово встретило Петра благовестом – в церкви начиналась служба. Поискал глазами колокольню, перекрестился на золотые купола. Летнее солнце плыло в синеве выше крестов; сильно парило, пахло полынью и пылью, хотелось пить. Рука потянулась за спину, к фляжке, и – замерла...

От речки, плавно покачивая деревянными ведрами на расписном коромысле, шла молодая баба. Из-под длинного темного сарафана выглядывала голая ступня, и словно застыдившись, быстро пряталась, а вместо неё появлялась другая, и эта игра не кончалась. Цветастый передник плотно охватывал женщину по талии, один край его был высоко поднят и наискось заткнут за пояс, с плеч вдоль белых рукавов кофты спускались, сливаясь с передником, концы красно-бежевого платка. Петр, откровенно любуясь женщиной, почему-то спрыгнул с коня и

замер с поводом в руках. Только он успел подумать: «красавица с полными ведрами – к удаче», как женщина, придержав шаг, улыбнулась ему и спросила легко, не смущаясь:

– Хочешь водицы испить?

Петр молча кивнул. Прищуренные глаза женщины смотрели насмешливо: она чувствовала, что ею любуются. Чуть повела станом и влажное ведро подплыло вплотную к его рукам. Засмеялась:

– Пей, пей, Еремей – не болотна вода.

– Меня Петром зовут – неловко отозвался он, – а за водичку спасибо! – Промочив горло, вдруг осмелел, взглянул в упор на молодуху и спросил:

– Что это ты по воду так разоделась? Али праздник сегодня какой?

Женщина снова легко засмеялась:

– Разоделась-то? Так у нас обычай в таком наряде по воду ходить, чтобы корова молока больше давала. А у вас разве не так?

Петр почувствовал, что его втягивают в игру – «Незамужняя что ли, или вдова соломенная?», – но шуточный манер поддержал:

– У нас–то? Мы коров из лаптя окуриваем, чтобы не болели, и молоко жирным было.

Улыбнулась молодуха, качнулась гибким станом вперёд и поплыли дальше над пыльной дорогой полные ведра. И минуты не прошло, как всё исчезло, словно привиделось. Петр вставил ногу в стремя и одним рывком взлетел на лошадь. Покачиваясь в седле, медленно приходил в себя. Что за наваждение случилось с ним? Ведь всего-то парой слов перемолвились с молодницей, а душу обожгло, словно не речной воды, а кипятка глотнул. А говорит-то она как хорошо и складно! Про такую не скажешь: *«бабий ум, что бабье коромысло: и косо, и криво, и на два конца»*. Миновав село, Петр с сожалением вспомнил, что не спросил, как зовут красавицу. Оглянувшись, вздохнул – поздно промах исправлять...

После смерти Дарьи тоскливо текло время для Петра, а ведь он с утра до вечера среди людей, вечно в заботах, которые не дают расслабиться. А каково дочери Ирине? День-деньской крутится, всё хозяйство на ней, головушки поднять некогда. Сережка маленький часто плачет – всё у него что-то болит. И старики после смерти невестки совсем сдали – не помощники они в доме. Сколько ещё протянут – год, два, а что потом ждет Петра? Маленькому-то настоящая мамка нужна, да и ему, чего уж там, хозяйка в доме... Но появится в избе другая женщина, Ирине ещё горше станет – взрослая она уже, сама невеста... Замуж её отдавать надо, отпускать из дома... Тогда и у него руки будут развязаны.

Эта простая мысль только сейчас пришла Петру в голову, и он почувствовал облегчение, словно, наконец, достиг перевала, после которого самое трудное осталось позади, и неразрешимые ещё вчера вопросы благополучно нашли своё разрешение.

* * *

В Сабуровке дворов было меньше, чем в Куркино, и церкви здесь не было, – сельцо, значит, не село. Но, куда ни посмотришь, зажиточность и богатство бросались в глаза. Вдоль мощеной камнем дороги были вырыты канавы для сточной воды, рубленые дома (назвать их избами язык не поворачивается) обшиты снаружи тёсом – роскошь невиданная! В самом центре Сабуровки красовалось несколько двухъярусных теремов–шестистенок! Прямо-таки боярские хоромы! Это кто же в таких живёт? А наличники-то, батюшки, наличники-то какие – резные да ажурные! Поверх окон будто кокошники надеты, а по бокам точь-в-точь рушники вышитые спускаются, и понизу, как на юбке подвенечной, кружева висят. Это же надо какая красота!

Петр удивленно крутил головой. Вокруг села, сколько ухватывал глаз, стояли фруктовые сады, огородов почти не было. На боковой улочке, пересекавшей главную дорогу, стоял колодезь, окруженный травянистыми лужицами. В них хлопотливо топтались и плескались утки,

отпугивая от воды бродячую собаку. Несколько черных бородатых коз щипали вдоль плетня зеленую поросль. В палисадниках набирали цвет кусты жимолости, шиповника, малины.

Петр несколько лет назад однажды приезжал в Сабуровку с отцом, было это в зимнюю пору. Тогда всё было завалено снегом и ни добротных дорог, ни садов, ни затейливых наличников он не разглядел. Сам-то Терентий Василич, будучи старостой, бывал здесь часто, и летом, и зимой, но никогда восторга насчет Сабуровки не выказывал. Наоборот, глухо ворчал в домашнем кругу по поводу здешних оброков и податей, но никто из домочадцев на это не обращал внимания – чужой оброк всегда кажется легче своего.

Волостное правление Петр узнал издалека, возле него шевелилась толпа приезжего люда: одни подъезжали, другие, видно, закончив дела, верхом или на телегах уезжали прочь. «Э, да никак большой сбор объявлен» – сообразил Петр. Подъехав, он спешился, зацепил повод за коновязь и подошел к оживленной толпе. Сняв картуз, поклонился всем и представился:

– Из Куркина я, Петр Терентьев.

Один из присутствующих живо обернулся к нему:

– Из Куркина? Не Терентия ли Василича сынок?

– Он самый.

– Как здоровье батюшки? Ты теперь, надо понимать, его преемником стал по мирским делам?

– Хворает батюшка, вот община мне дела и передала. А по какой причине сбор?

Батюшкин знакомец ответить не успел. Из широких дверей волостного Правления вывалился народ и начал спускаться вниз по тесовым ступеням крыльца. За ними показался волостной писарь, немолодой, худощавый мужчина выше среднего роста с невыразительным серым лицом и аккуратно прилизанными редкими волосами, в руках он держал большую пухлую книгу. С высокого крыльца, будто с пьедестала, глядя сверху вниз, он неожиданно звучным баритоном пригласил подъехавших пройти внутрь Правления, где сельских старост ожидал волостной старшина.

Зал заседаний был по казенному неуютен. Слева и справа от прохода стояли массивные деревянные скамьи для гостей. У дальней стены напротив входа, словно бычок-двухлетка, прочно уперся в пол громоздкий письменный стол. За ним восседал холеный круглолицый мужчина, который изрядно удивил Петра своей внешностью. Он был похож не на крестьянина, а на разорившегося помещика из литовцев. Совершенно невозможно было определить его возраст: ему можно было дать и сорок лет, и пятьдесят.

Когда все расселись на скамьях, круглотелый, рыхлый старшина встал, кивнул присутствующим шарообразной головой, которая из-за отсутствия шеи почти лежала на плечах. Коротко бросил писарю: «Начинайте!» Тот немедленно открыл свой гробсбух и приступил к переключке прибывших на сбор. Старшина тем временем перекачивался на коротких ножках по проходу от своего стола до двери и обратно: то ли сосредотачивался на предстоящем выступлении, то ли просто давал отдохнуть одеревеневшей заднице. Излишняя полнота, слегка согнутые в коленях ноги, пухлые ручки старили его, но легкие белые волосы, стрижка под горшок и обиженное выражение лица, производили обратное впечатление – он напоминал барчука-недоросля.

Петр провожал его глазами, и глухое раздражение поднималось в душе: «До чего же он похож на нашего хряка, такие же ножки, белесые глазки и жирный, висящий подбородок. Ну чего он ходит туда-сюда с задумчивым видом, будто не в третий раз собирается сегодня говорить одно и то же? Откуда он вообще взялся в нашей волости?».

Писарь, наконец, закончил опрос, сделал необходимые записи в своей амбарной книге, и, поклонившись в сторону старшины, отступил назад. Круглая голова покрутилась влево-вправо и начала говорить. Тишину зала заполнил мягкий, растягивающий гласные звуки, голос:

– Господа! Мы собрали вас по весьма важному обстоятельству, которое я сейчас вам изложу. Вы хорошо знаете, что сельское самоуправление – это первое и поэтому важнейшее звено государственного устройства. Ни для кого из нас не секрет, что сельский мир без старосты – что сноп без перевясла. Не устоит и дня, распадется и сгниет...

Мужики на скамьях враз перестали ерзать, насторожились: чего это вдруг волостной начальник начал им комплименты растачать? Раньше-то сельские старосты завсегда козлами отпущения были... Ох, неспроста... Видно что-то серьёзное затевается.

– ... Не раз священная Русь подвергалась тяжелым испытаниям, но всегда лучшие сыны Отечества поднимали за собой народные рати и разбивали врага. Вспомним великого князя и полководца Дмитрия Донского, князя Дмитрия Пожарского и земского старосту Кузьму Минина...

В зале наступила мертвая тишина. У присутствующих появилось ощущение, которое крепло с каждой минутой, что сразу после собрания, прямо отсюда, все они во главе с волостным старшиной отправятся на ратное поле биться с врагом за веру, царя и Отечество.

А кто этот супостат, что посмел им угрожать? Что вызвало тревогу, из-за которой протрубили сельским старостам большой сбор?

Всем было понятно, что устами волостного старшины говорит не уездная власть, и может даже не губернская... Что же случилось в государстве, если волостному голове дозволено молвить такие речи?

Петр смотрел на старшину и уже не замечал ничего отвратительного в его фигуре. Более того, облик председателя Правления обрел черты величия и державного достоинства. Его слова разбудили у присутствующих горячие патриотические чувства... С оратора не отрывали глаз. Все напряженно ждали главных слов и, похоже, дождались:

– ... Необходимо безотлагательно увеличить русскую армию. Все вы сегодня получите задание на дополнительный рекрутский набор, который обязаны исполнить до первого августа...

В зале поднялся глухой ропот, посыпались вопросы, заплескалась нескрываемая тревога:

– Абрам Назарьевич, а что, Россия уже с кем-то воюет?

– Завтра Вознесение Господне, сенокос днями начнётся, а там и уборочная не за горами.

Кто же в такую пору рекрутов собирает?

– Для таких дел высочайший указ должно иметь!..

Абрама Назарьевича ропот не смутил, – на каждом собрании повторяется одно и то же.

– Указ такой есть, господа, но говорю это не для огласки. Этим же Указом для всех сословий величина подушной подати и все налоги повышаются на четверть. Пока на один год, а там будет видно...

И снова по залу прокатился недовольный гул. С кем всё-таки Россия собирается воевать, кто же ей угрожает? Может басурманы на Азове лютуют? Али шведы на Балтии никак не угомонятся? А может, какой корень пугачевский не до конца истребили, и полыхнул новый огонь в оренбургских степях, или ещё дальше – в дикой Сибири?

Ни доклад старшины, ни его витиеватые ответы обстановку не прояснили. Сельские старосты недоуменно переглядывались, но ничего более от старшины не услышали. Что хошь, то и думай! Зачем тогда народ собирали?

* * *

Подавленные новостями, «господа» мужики высыпали во двор Правления. Многие сразу же укатили домой, некоторые задержались, чтобы пообщаться накоротке.

Старый друг отца подошел к Петру:

– Передавай своему батюшке привет от Космы Матвейча, он меня, надеюсь, не забыл.

– Обязательно передам, Косма Матвейч! Вы сами-то, с каких мест будете?

– Село Никольское, за рекой Банькой, верхом час отсюда. Старые-то люди помнят, когда Никольское ещё Собакиным называлось. Одно такое было на весь уезд, а может и губернию, ни с кем не путали, а Никольских-то много...

– Вот смотрю я, Косма Матвейч, на Сабуровку и вижу, что народ здесь не в пример нам богато живет. Чем же он от нас отличается? Почему мы в Куркино так не умеем? Чай, ведь тоже не лодыри!

Староста из села Никольского был уже в летах, на вид никак не меньше пятидесяти пяти – крепкий, невысокий, с взъерошенным ежиком седых волос на голове. Он внимательно посмотрел на Петра щелками глаз, шевельнул морщинистым лбом и удивленно-насмешливо спросил:

– А что, батюшка твой, Терентий Василич, ничего об том не рассказывал?

– Нет. Знаю только, что он Сабуровку не жаловал. Но почему?

Косма Матвеевич многозначительно хмыкнул, почмокал губами, но от ответа не ушел:

– Понимаешь, многих это интересовало, да только, оказывается, не нашего ума это дело. Ну, коли тебе интересно, послушай. Ты, мил человек, сколько оброку платишь, не считая прочих поборов? Шесть с полтиной в год? А здесь душевой налог всего лишь один рубль! Где ты такое ещё видел? Ты с помола и продажи хлеба сколько налога платишь? То-то же! А здесь – ни копейки! Видишь сколько в Сабуровке садов? Они же Москву яблоками завалили, но ни за сады, ни за огороды налога не платят. Даже выводные деньги за баб и девок с них казна не взыскивает. А? Каково?

Петр ошарашено молчал. Он-то хорошо помнил, сколько отвалил Меншиковым и казне за Дарьюшку. (Взятка бурмистру Фролу не в счет). Недоверчиво покрутил головой:

– Кто же им такую жизнь подарил? Нам контора ни копейки недоимки не прощает, а тут, получается, сама от денег отказывается? – Петр вопросительно смотрел на Косму Матвеевича.

– Это, Петр, темная история. При Павле всё началось. Сабуровку (и не только её) отписали какому-то иноземному ордену. Не то масонскому, не то мальтийскому. Село и все доходы теперь ордену принадлежат. В богатых двухъярусных домах нерусь заморская живет, иезуиты разные. Они под себя Сабуровку и отстроили, чтобы богато выглядела. А зайди в избы к мужикам, перебиваются с кваса на воду...

Петр слушал Косму Матвеевича и не верил своим ушам, а тот, помолчав, продолжил:

– Сделали Сабуровку волостным центром, а разве это село, если храма нет? Построить православную церковь иезуиты не разрешают. Русским людям, получается, лоб перекрестить негде.

Петр смотрел сейчас на Сабуровку совсем другими глазами и начинал понимать, почему его отец ничего о ней не рассказывал.

– Косма Матвейч! А волостной старшина, он из каких?

– Барина, старшину нашего, три года назад на крестьянский сход неизвестно откуда привезли. И начали на сходе мужиков вином из бочки угощать. Наливали фунтовым черпаком, пей – не хочу... Эх, стыдно вспоминать, что тут было... Таких, кто не пил на том сходе, считай и не было. Дружно тогда мужики за барина проголосовали...

Опять помолчали. На душе у Петра было погано, словно его прилюдно с ног до головы облили помоями. Косма Матвеевич вдруг заторопился:

– Смотри-ка, на небе-то все тучки сбегались в одну кучку, к непогоде это! Ну, бывай здоров, свидимся ещё! – но, отойдя на несколько шагов, быстро вернулся:

– И не советую тебе про заморский орден где-нибудь выспрашивать – злейших врагов наживешь....

Рыжуха всегда безошибочно угадывала, когда хозяин, наконец, заканчивал дела и направлялся к дому. Тогда она сама без понуканий, резво, часто переходя в легкий галоп, бежала к родному стойлу. Путь домой казался ей легче и короче.

Петр, не остывший ещё от собрания и разговора с новым знакомцем, не обращал внимания на быстро сгущавшиеся сумерки, а когда, очнувшись от раздумий, поднял голову, смутная тревога охватила его: черное облако, час назад едва видневшееся у горизонта, заполнило треть неба. Иссиня-черные края тучи клубились, набухали и втягивали в себя оставшуюся светлую часть неба.

Он въехал в село Марьино-Знаменское и в раздумье остановился. Дальше дорога бежала до Ангелово, и затем, делая изрядную дугу мимо пустоши, выходила к развилке, откуда начинался проселок на Рождествено – он проезжал там утром. Но сейчас со стороны Тушино надвигалась туча, и Петру не хотелось ехать навстречу мрачной стихии.

«А что если повернуть налево и, минуя Ангелово и Рождествено, напрямик через лес выйти на Дудино? Там и до дому рукой подать. Это же верст на пять короче, глядишь, до непогоды домой успею добраться. Правда, раньше здесь не приходилось ездить... да что я, три версты лесом не одолею? Мимо Пятницкого тракта и захочешь, не проскочишь...»

Решительно повернув лошадь с дороги в сторону темного бора, всадник покинул Марьино-Знаменское.

Вряд ли когда-нибудь довелось узнать Петру, что именно Марьино-Знаменское приобрел ловкий итальянец, царедворец, граф Юлий Литто, который склонил императора Павла I принять сан Великого магистра Мальтийского ордена. Сумел итальянский посланник убедить русского императора отписать этому ордену из Государственной экономической коллегии не только Марьино и Сабуровку, но и Путилково, Рождествено со всеми их доходами. Провернув небывалую аферу, этот проходимец ещё и великие благодарности, и награды в России сумел получить. Бывает же...

Тропинка, по которой путник втянулся вглубь леса, скоро оборвалась и затерялась на небольшой поляне между темными пятнами старых кострищ. Петр, не сворачивая, продолжал ехать прямо, лавируя между массивными стволами деревьев. Копыта лошади мягко ступали по лесному войлоку. Небольшой склон, спускаясь всё ниже и ниже, привел всадника то ли к небольшой речке, то ли к широкому ручью. Двигаться стало труднее, упругий войлок сменился мягкой периной мхов; вдоль топкого берега топорщился тощий кустарник; путь всё чаще преграждали старые упавшие деревья. Объезжая бесконечные завалы, Петр с сожалением вспомнил старую истину, что прямая дорога не всегда бывает самой короткой.

Между тем, сумерки сгущались, туча неудержимо росла и висела уже почти над головой. Лишь кроны деревьев скрывали её истинные размеры от глаз попавшего в переплет путника. Глухой раскатистый гром раздавался все ближе и громче, белые сполохи испуганно скакали по верхушкам деревьев. Приближалась буря; её влажное, жаркое дыхание было ощутимо так, словно кто-то рядом плеснул ковш воды на горячие камни. Неожиданно теплый воздух сменился холодом подземелья. Голоса птиц разом стихли, колючие вершины столетних елей и сосен тревожно заметались, словно пытались скрыться от разъяренного неба.

Яркая белая вспышка ослепила лес. Гром, наконец, вырвался на свободу, словно сам Илья-громовержец на огненной колеснице ринулся туда, где безумный смерд верхом на коне бросал ему вызов. Петру показалось, что очередная молния стрелой летит прямо в него. После слепящего света всадника окружил мрак. От вселенского грохота судорога прошла по земле. Передние ноги лошади в страхе подогнулись, она упала на колени, и Петр вылетел из седла.

Извивающиеся плети молний, одна за другой, рассекали черную глубину неба – застигнутый непогодой беспечный путник понял, что это разгневанный Пророк показывал ему, что ожидает грешников в день Страшного суда. Под напором стихии лес стонал, изнемогая в битве,

дикое завывание несло со всех сторон. Тяжелая, словно чугунная, туча неотвратимо падала на землю.

«Господи, спаси и сохрани! – шептал Петр, – откуда этот невыносимый дикий вой, неужели пришел мой судный час?» Вжавшись в землю, он лежал возле ног лошади. Рыжуха пряла ушами и дрожала крупной дрожью.

Человек ничего не мог противопоставить обезумевшей стихии. Прятаться от воли Божьей – занятие бессмысленное и греховное. От разящих стрел Ильи-пророка укрыться невозможно, оставалась только одна надежда, что Всевышний услышит молитву заблудшего человека, и ниспошлет ему свою милость.

В памяти шевельнулись старые, но не забытые слова: *«Господи Боже наш, утверждая гром, и претворяя молнию, и вся, делая ко спасению рукой Твоею, призри мя Твоим человеколюбием. Помилуй, раба Твоего, яко благ и человеколюбец: да не опалит нас огонь ярости Твоей, укроти гнев Твой и разреши мрак. Славу Тебе возсылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».*

Петр обреченно ждал роковой развязки. Гроза неистовствовала. Громовержец на летучей колеснице вновь и вновь устремлялся в самую гущу битвы, полыхающую фиолетовым пламенем. Ещё одна невиданной силы молния обрушилась на помертвевший лес, раздался оглушительный треск. Небо расколосось, и колесница громовержца, не удержавшись, скользнула по тучам вниз и врезалась в земную твердь. С небес хлынул сплошной водный поток. Пётр вскочил на ноги.

Через несколько минут речка забурлила, закружила воронками возле берегов и черных полузатопленных деревьев; вода быстро поднималась. Петр с лошастью стал пятиться по склону вверх, но его усилия оказались тщетными. С кручи катились водяные валы, размокшая почва скользила под ногами и тащила человека вниз, в кипящий водоворот.

В какой-то момент Петр отцепился от ветки дерева и, поскользнувшись, скатился в ревущий поток, который словно только и ждал жертвоприношения – сразу накрыл его с головой. Рванувшись к спасительному воздуху, Петр никак не мог нащупать опоры под ногами, он хватался руками за чахлые пучки бледно-зеленой травы, какие-то кустики, но они были слишком слабы и податливы, чтобы помочь. Вода – упругая и жадная – не отпускала неожиданный подарок...

Немало было потрачено сил и времени, пока Петр догадался искать спасения ниже по ручью. Ударяясь о коряги и топляки, он отчаянно загребал воду руками... «Тебе ли, дураку, было не знать старую истину, – пронеслось в его отчаянной голове – *не ведаешь броду, не суйся в воду...*»

Гроза быстро отлетала прочь, и только водный поток продолжал яриться, наслаждаясь бесшабашной удалью; ему явно не хотелось покоя. На крутом повороте, по недогляду, речка поднесла свою жертву прямо к висящим над водой старым ивовым кустам. Петру хватило мгновения, чтобы ухватиться за них мертвой хваткой...

Тяжело дыша, незадачливый пловец вылез, наконец, на берег. Отдыхать было недосуг, и он, скользя и падая, устремился туда, где выронил из рук повод. Умное животное неподвижно стояло на прежнем месте, и было видно, что оно без своего друга не сойдет с места.

Появление хозяина Рыжуха встретила тихим, счастливым ржанием. Петр обнял за шею свою верную лошадку и долго стоял неподвижно, пока не успокоилось сердце, не прошла противная слабость и дрожь в ногах. Потом зашел по колени в ручей и стал омывать разгоряченное исцарапанное лицо. Странно, но ему хотелось пить, и, ловя ладонями струи воды, Петр пил и пил воду, которая едва не погубила его. Придя в себя, он заметил, что потерял кожаный пояс, а с ним дорожный нож и фляжку. Усмехнулся – ещё легко отделался...

Лес снова наполнился дневным светом, шорохом деревьев, пересвистом осмелевших пичуг. Невидимая кукушка отсчитывала Петру срок жизни – получилось не слишком много.

Грустить об этом было ему недосуг, да и не верил Петр кукушкам. Наверху застучал дятел. Что-то неуловимое, могучее, как дыхание Святибора, вернуло лес к обычной жизни.

Небо очистилось, закатное солнце успело ещё отразиться в хрустальной россыпи медленных капель и повиснуть над лесом многоцветной радугой. Петр смотрел на неё и улыбался неизвестно чему. После пережитой небывалой грозы что-то изменилось в его душе – он это почувствовал. Он ощутил в себе силу противостоять любым невзгодам, какой бы гром ни грянул над его головой.

УПРАВЛЯЮЩИЙ

Глава 2

Помещик Меншиков Сергей Александрович на берегах Сходни никогда не жил и господского дома здесь не имел. К 1812 году светлейший князь отошел от государственных дел, подолгу жил за границей, уединялся в своём великолепном подмосковном имении в Черемушках-Знаменском, бывал наездами в родовом поместье Круг, что возле Клина, время от времени показывался в высшем столичном свете на блистательных балах и приемах. Фамилия Меншикова в Санкт-Петербурге не сходила с уст прекрасных дам, но, увы, не Сергея Александровича, а его сына Александра Сергеевича, язвительного остролова, двадцатипятилетнего императорского флигель-адъютанта безупречной внешности, в мундире с золотыми эполетами и аксельбантом.

Молодой отпрыск княжеского рода в раннем детстве был увезен в Дрезден, учился там уму-разуму, и в восемнадцать лет определился на службу в ведомство иностранных дел. Он не только никогда не бывал в отцовской вотчине на Сходне, но, скорее всего, и понятия не имел о существовании деревень Куркино, Юрово, Машкино и иже с ними.

По ревизским сказкам в Юрове в 1812 году проживало 140 крестьян, в Машкине – 98, а в соседнем Филине, которое тоже принадлежало Меншиковым, стояло 37 крестьянских дворов и проживало 255 душ. Крепкое было село; в нём и господский дом стоял, построенный сто лет тому назад князем Василием Голицыным. Село Филино перешло затем его сыну Ивану. И когда в 1773 году князь Иван Васильевич Голицын предстал перед Богом, то прямых наследников, чтобы передать поместье, не нашлось. Ближайшим родственником Ивана Васильевича оказался его двоюродный брат – Сергей Александрович Меншиков (кто из нас не примечал интересную закономерность – деньги почему-то всегда к деньгам льнут?)

Казалось бы, чем отличалось село Куркино от деревень Юрово, Машкино, Филино, особенно, если смотреть из дня сегодняшнего вглубь веков? Все – крепостные, из нужды не вылезавшие, рекрутчину познавшие, властью битые, о воле мечтавшие... Так-то оно так, но если перенестись на двести лет назад, и взглянуть на всё глазами того времени, то увидим существенную разницу между ними.

Куркинские мужики в отличие от своих соседей помещика не знали почти с 1700 года и к 1812 напрочь забыли о барском самодурстве, господских прихотях, жестоких наказаниях. Шапку ломали только перед своим старостой, ими же выбранным. От государевых мытарей откупались посильным оброком, и казалось им, что они вполне вольные люди, в отличие от юровских (машкинских, филинских), которые без воли помещика даже жениться не имели права.

А где он, их помещик, светлейший князь Меншиков? До Бога было ближе, чем до Его Высокопревосходительства, сенатора, тайного советника императорского двора. Никто из мужиков его в лицо не знал, поскольку ни разу в жизни не видел. Вот и шли крестьянские бедолаги, случись какая нужда, к управляющему, до земли ему челом били. Он для них был

и помещик, и царь, и Бог, и воинский начальник. Вот только радетелем заботливым никогда не был...

Без разрешающей справки управляющего уйти крестьянину из деревни в город на ярмарку что-то купить или продать – ни-ни. Хорошо ещё, если самовольную дерзость мужика барин не посчитает за бунт: тут уж точно Сибирь и каторга. Но в любом случае управляющий не прощал даже малейшего неподчинения – молодому бунтарю брил лоб*, старого – душил штрафами. Тому, кто законопослушно приходил просить у «душегуба» справку, тоже было не сладко – управляющий из него буквально веревки вил: припоминал несчастному мужику не только его недоимки и штрафы, но и посмертные долги тятеньки требовал уплатить... Вот и выбирал крепостной мужик из двух зол одно...

**забрить лоб* – отдать на военную службу, в рекруты.

«Зашибить деньгу» на трех-четырёх десятинах тощих земель сходненскому землепашцу никогда не удавалось, проще было закалымить извозом на стороне или на фабричку к купцу податься, если опять же всеильный управляющий дозволит.

Помещицьею семье мужицкая наличность не шибко была и нужна, ей натуральный продукт получить куда выгоднее, поскольку кроме собственного семейства нужно было кормить неисчислимую дворню, управляющую контору и, кроме того, хороший запас в собственных амбарах держать.

Зачем барину втридорога на ярмарке продукты покупать, если у своих крестьян задаром взять можно? И если помещик разрешал-таки мужику на промысел податься, то оброк ему назначал по-своему, барскому усмотрению – в два-три раза выше, чем имели в Куркино «государевы» крестьяне.

Так исторически и сложилось на Руси, что хитрый подневольный мужик изо всех сил скрывал истинный прибыль, прикидывался всегда разнесчастной «сиротой казанской»; дом и себя содержал в нарочитой нищете, чтобы, не дай бог, «кровососу» -управляющему не пришла в голову мысль поднять на следующий год оброк. Власть до чужих доходов и в те времена была равнодушна. Ей и дела нет, что *«прибытки с убытками рядом живут»*.

Многие куркинские, что круглый год промышляли на стороне, охотно сдавали юровским и машинским свои земельные наделы, и те, тяжким трудом добывая себе «лишний» кусок хлеба, платили за это «копеечку» заносчивым государевым соседям. Оброчный куркинский мужик всегда выглядел лучше и веселее, чем барщинный юровский сосед: и сутулился меньше, и одет был по сезону, и широко погулять любил. И если он в будни не чурался лапти носить, то уж по праздникам всегда ходил только в сапогах, в тех, что пофорсистей – с набором*. И избы у оброчных мужиков чаще были тесом крыты, нежели соломой, как у машинской или юровской голытьбы.

Исключения из этих правил, конечно, были. Например, куркинский староста Петр Терентьев на чужой стороне счастья никогда не искал – землепашествовал в родном селе. Зажиточным был хозяином. Он не только землю у соседей арендовал, но и работников на стороне нанимал (как бывало и отец его, Терентий Василич). К тому же, сельский староста отнюдь не бесплатно свои обязанности исполнял, ему *«обчество»* на сходе хорошее жалование утверждало.

**с набором* – с мелкими складками на голенищах.

* * *

Где вы слышали о таком управляющем, который бы не считал себя умнее, трудолюбивее и достойнее своего господина? Кто из них не видел себя в образе и подобии полновластного

хозяина земель и крепостных душ, коих он, управляющий, «отечески» наставлял, наказывал и миловал, неустанно заботясь о благе и процветании барина?

Нет такой меры вознаграждения, которая бы казалась бурмистру (управляющему) достаточной, и не хотелось бы иметь ещё чуть-чуть сверху, но чтобы не из рук благодетеля и кормильца, а исключительно благодаря собственным недюжинным способностям делать жизнь вокруг себя «справедливей и богаче». Это всегда очень льстило самолюбию.

Задолго до Альберта Карловича Гохмана на должности управляющего сходненской вотчины Меншикова (с 1800 по 1803) был отставной секунд-майор Савелий Константинович Хорьков.

Сорока пяти лет, из мещан, он любил ходить в длиннополом, наглухо застегнутом синем вицмундире офицера драгунского полка (разумеется, без погон), хотя красный стоячий воротник немилосердно подпирал ему уши и резал щёки. Начищенные бронзовые пуговицы мундира сияли величием былых побед, выпуклые блестящие глаза смотрели на вас в упор, не мигая, словно были сделаны из тех же пуговиц. На полных кривоватых пальцах Хорькова блестели серебряные и золотые перстни, украшенные бирюзой. Несмотря на довольно грузную комплекцию, ходил он молодцевато, крепко ставя ногу, да и остальное выдавало в нем недавнего служаку – цивилизованно разговаривать или что-нибудь рассказывать он не умел: вышестоящим – докладывал или рапортовал, нижестоящим – приказывал. Равных себе любил наставлять, как новобранцев на плацу.

Савелий Константинович производил впечатление решительного, бесхитростного, бескомпромиссного человека. На каких полях сражений, за какие заслуги получил он боевые награды и звание секунд-майора, осталось неизвестным, но свою хватку и находчивость на службе у генерал-майора, светлейшего князя Сергея Александровича Меншикова, он проявил достаточно быстро.

Лето 1802 года выдалось сухим и жарким, рожь и овсы беспомощно никли на порыжелых полях. В том году с дождем по всей России были нелады – его просили на поля, а он шел там, где сено косили; барабанил не там, где ждут, а где овсы жнут. В общем, повсеместно был глухим и слепым.

В палящие июльские дни управляющий Хорьков организовал депутацию из приказчиков и десятников деревень Юрово, Машкино, Филино. Толпа пришла в храм Владимирской иконы Богоматери к батюшке Георгию Иванову (очень культурный и отзывчивый священник был). Хорьков выступил вперед, приложился к руке настоятеля, широко перекрестился и с поклоном рубанул во весь голос:

– Просим вас, батюшка родимый, молебен по полям нашим совершить...э-э-э... о дожде... значит.

Батюшка поднял просветленные глаза и, обведя взглядом депутацию, тихо ответил:

– Это хорошо, что вы пришли. Молебен только тогда Всевышний слышит, когда он по воле и желанию прихожан свершается. Вот через два часа и исполним.

Весть о молебне ниспослать дождь на высохшие поля, искрой пронеслась по окрестным деревням. Мужики, бабы, дети в чистых одеждах – белых рубахах, кофточках, нарядных сарафанах – бежали к церкви...

Впереди крестного хода с большим крестом в руках встал дьяк Иван Васильев. На затылке его крысиным хвостиком болталась тонкая косичка. За дьяком бережно держа хоругвь, величаво стоял батюшка. По правую руку от него с иконой в руках расположилась матушка Елена Михайловна, по левую руку – тоже с иконой, жена дьяка Евдокия Егоровна. За ними остальные по ранжиру: управляющий Хорьков, немолодой, но ещё крепкий староста села Куркино Терентий Василич, приказчики Юрова, Машкина, Филина, мужики и бабы ближайших деревень – много всего собралось народу.

Быстро разобрали иконы, на руках у женщин вышитые полотенца; все стояли торжественно, благоговейно ожидая удара колокола. И вот первый густой звук благовеста вознёсся в небо, толпа всколыхнулась и замерла. Тягучий, словно мёд, звук поплыл над людской колонной. За ним, догоняя предыдущий, раздался новый удар колокола, потом ещё и ещё... Крестный ход начался.

Пройдя полсотни сажень, процессия остановилась возле церковного кладбища. Батюшка Георгий никогда не забывал при каждом удобном случае отслужить панихиду по усопшим. Обычай этот велся исстари: живые молились за упокой умерших, чтобы те, *которые ближе к Богу, помолились в иных краях о нуждах живых...*

Потом колонна с молитвами пошла по окаменевшим полям. Какие это были страстные молитвы! Женщины плакали от переполнявших чувств, мужики истово крестились, моля о чуде: *«Господи! Ты не можешь не услышать нас, бедных чад Твоих! За эту веру, за слезы наши дай нам то, о чем мы просим! Дай! – ведь нам нужно так мало, всего-то дождя на иссохшую страдающую землю» ...*

И чудо свершилось – на другой день пролился дождь. Запоздавший, не такой сильный, как хотелось бы, он не вернул полям животворящей силы и не мог полностью спасти урожай, но всё же, всё же... Чудо это запомнилось надолго.

По причине неурожая, угрозы голода и болезней светлейший князь Меншиков, не желая допустить разорения своих поместий, милостиво повелел управляющим сократить наполовину крестьянские подати за текущий год.

Отставной майор Хорьков то ли забыл, то ли невнимательно слушал указания барина, но в течение осени 1802 и зимы 1803 года выколотил из мужиков оброк в полном размере. А когда повез в московскую контору сдавать оброчные деньги, то вдруг вспомнил высочайшее распоряжение своего благодетеля и отдал из восьми тысяч собранных ассигнаций ровно половину.

О том, что шила в мешке не утаишь, знают все, но есть такие, кому эта истина кажется сомнительной, и они, желая поспорить с судьбой, идут на рискованный эксперимент. Если бы риск всегда был безнадежным, вроде попытки Икара долететь до Солнца, то желающих сломать себе шею было бы гораздо меньше, но дело в том, что иногда аферы завершаются благополучно. Хорьков решил рискнуть. Игра майора стоила свеч. Да-да, самых что ни на есть настоящих свеч, разгоняющих мрак повседневного существования.

Наш бравадный секунд-майор принимал участие в военной компании против Польши в 1792 году. Однажды на задворках Брацлава (город в то время был захвачен поляками) ему довелось увидеть в каком-то сарае связки свечей, котлы с жиром, мотки ниток (потом он узнал, что это заготовки для свечных фитилей). Будучи от природы неглупым человеком, можно сказать, хватом, он быстро понял, что к чему, и «заболел» идеей поставить дома «заводик» по производству сальных свечей.

Война с Польшей вскоре завершилась Тарговицким миром (Брацлав, кстати, вновь стал украинским), и майор стал надоедать начальству рапортами об отставке. Поскольку на ближайшее время войн у России не предвиделось, майора удерживать не стали. Он подался в свой родной Клин и купил в деревне Решетниково дом, который планировал приспособить под свечную мастерскую.

Но всё оказалось не так просто: для открытия производства потребовался первоначальный капитал – закупить говяжий и бараний жир, бумагу фитильную, котлы, заготовить впрок прорву дров, построить или купить жильё для работников, обеспечить им прокорм, выплатить жалованье, организовать, наконец, сбыт готовой продукции.

Со временем всё бы у майора получилось, он и не такие редуты брал, но тут в соседнее местечко Круг, в имение Александрово приехал светлейший князь Меншиков. Случай как-то свел их, и Сергей Александрович предложил покорителю Польши местечко управляющего в своей вотчине на Сходне. О том, что там недавно филинские мужики убили своего бурмистра,

тайный советник упоминать не считал нужным. В конце концов, управляющий большого сходненского поместья – это вам не мужик-бурмистр одного сельца. Предложение майор принял. Два года спустя его мечта о первоначальном капитале и производстве свечей была уже близка к осуществлению, но приезд инспектора московской конторы Меншикова с целью проверки положения крестьян обернулся для Хорькова катастрофой.

Инспекцию в феврале 1803 года провели по заботливому велению светлейшего князя – тот любил во всем порядок. Когда представитель Его светлости, отобедав в доме управляющего, пожелал посетить несколько крестьянских дворов, хлебосольный Хорьков мелко засуетился, призвал на помощь дражайшую супругу Василису Модестовну, мол, угости-ка гостя ещё чем-нибудь особенным, а сам в мгновение ока достал из укромного закутка бутылку знаменитого немецкого вина «Stainvain» 1750 года, изготовленного в самой Франкнии. Это был дорогой трофей, захваченный в военных походах, который всё лежал и лежал без нужды, ожидая особого случая. Вот он и пришел, тот самый особый случай, другого – более важного – могло никогда и не случиться в карьере управляющего.

Московский инспектор был из небогатых дворян (батюшка его заработал дворянство боевым орденом Святого Владимира 3-й степени и в праздничные дни гордо носил пурпурный крест на ленте с «бантом»), тем не менее, по близости к светлейшему князю Меншикову, толк в винах понимал. Увидев толстого стекла темно-зеленую бутылку «Stainvain» с горлышком, залитым сургучом, изумился про себя: «однако!» Кто бы мог подумать – в этакой глуши и такие вина! Но категорически воспротивился открывать уникальную бутылку сию минуту. Столь торжественный момент хотелось пережить без суеты, завершив все дела.

Откладывать посещение крестьян на более позднее время не хотелось, а исполнить задание Управляющего Главной Конторы кое-как было для командированного инспектора совершенно невыполнимым. Пришлось Хорькову крикнуть казачку в сенях, чтобы подавали дрожки...

Изба, в которую вошли инспектор и Хорьков, ничем не радовала глаз: всюду выпирала убогая нищета; внутри дома под черной крышей было темно, душно и дымно. Единственную комнату разделяла надвое перегородка, один край которой упирался в необъятную печь с уступами, стремешками и запечьями, другой упирался в широкие полаты. За столом у маленького оконца сидели распоясанные люди – ужинали; подле них хлопотала хозяйка – рябая, встрепанная, чем-то недовольная баба.

– Хлеб да соль вашему дому – поприветствовал обитателей избы вошедший инспектор, – здравствуй, хозяйка!

Народ за столом поднял глаза на появившегося невесть откуда господина и, словно оробев, промолчали. Позади незваного гостя в дверях маячил Хорьков. Хозяйка, не церемонясь, раздраженно обронила гостям:

– Чай, не лето двери полами держать! Заходите, коли пришли.

Управляющий Хорьков вслед за инспектором переступил порог, затворил дверь и, глядя на главу семейства, протрубил:

– Што ты, Афанасий, надулся, как мышь на крупу? К тебе гость из Москвы пришел, а ты по-людски и встретить не можешь?

Афанасий Федотов, тридцатипятилетний мужик по прозвищу Гусь (один из немногих в деревне, кто много лет держал в домашнем хозяйстве гусей, за что и получил добродушное прозвище), прищурил глаза и желчно возразил:

– Да я... это... вроде никого не ждал нынче в гости, мне и угощать-то нечем. Не будет же барин нашу тюрю на квасе хлебать. Так что, Савелий Констатиныч, напрасно ты про крупу вспомнил, давно никакой крупы в хозяйстве нет, одни мыши остались...

– Ну-ну, ты говори, да не заговаривайся! Лучше разумеешь, какая тебе честь оказана! Что-то ты больно веселый нынче!

– Да какое тут веселье, одни горести – угрюмо ответил Афанасий, опуская глаза в миску с квасом, – это у господ ни в чем заботы нету.

– Подожди-ка, Савелий Константинович! – Инспектор сделал шаг вперед к Афанасию, – вижу, что небогато живете, всем в этом году тяжело пришлось, но барин наш, Сергей Александрович, всё что могли сделали для вас, вот и на посевную обещали помочь.

Хорьков потянул инспектора за рукав:

– Пойдемте отсюда, ваше благородие! Как есть неблагоприятный народ! Сколь им добра не делай, всё волком смотрят!

Обида и гнев захлестнули Афанасия:

– Это я-то волк?! Вам засуха – не засуха, мор – не мор, а подушную вынь да положь!.. Не ты ли Савелий Константинович меня за горло брал, чтобы я, значит, оброк весь до копеечки к Рождеству внёс?.. Не ты ли корову грозил со двора увести! Да лучше бы увел... всё равно кормить нечем... Даже на мясо резать её теперь резону нет – одни мослы да шкура... Десять лет гусей держал, всегда по великим праздникам щи наваристые ели, а сейчас всех птиц продал, чтоб оброк барину заплатить. Нашел волка!

Управляющий Хорьков напрягся, побагровел, загремел командирским голосом:

– Ты язык-то попридержи, а то ровно поленом по навозу хлопаешь, ошметки во все стороны летят, честных людей ни за что пачкаешь. – Он решительно взял под руку инспектора: – Пойдемте, ваше благородие, отсюда! Не дай Бог, вшей да блох нахватаем!

В запальчивом, прерывистом захлебе юровского мужика московский гость уловил нечто такое, что заставило его вытащить локоть из ухватистой горсти Хорькова:

– Подождите, Савелий Константинович, тут на барина напраслину возводят. Не сам ли светлейший князь Сергей Александрович за прошлый год подушный налог вполовину урезал? Недоимку государственной казне своими сбережениями внёс. К весне ещё семена обещали для посевной закупить. Это кто тут кого за горло берёт?

В избе наступила тишина, которая добром не кончается. Хорьков в сердцах плюнул, и, злобно пнув ногой дверь, выскочил на улицу: «ну, Гусь лапчатый, ты у меня запоешь, дай только гостя проводить! Раскаркался, словно голодный ворон на чужом пиру...»

Проверяющий был малый не глупый и задал Афанасию только один вопрос:

– Все в деревне платили подушевой налог полностью?

– Все.

* * *

Разбирательство с Хорьковым длилось долго: Главная контора подала на вороватого управляющего в суд, а в суде, как всегда: *«улита едет, когда-то будет»*. Дознания и опросы свидетелей продолжались больше года. Десять томов бумаг исписали чиновники гусиными перьями. Но никакого решения суд не принял, потому как лишить звания и отправить офицера в тюрьму или на каторгу – царский указ нужен. Подготовили Александру реляцию на секунд-майора Хорькова... Прошло ещё полгода. В июньском 1804 года номере газеты *«Санктъ Петербурхъ. Ведомости»* появилось короткое сообщение: *«Его Императорского Величества постановлением секунд-майор Хорьков С.К. разжалован в рядовые, а также лишен военных наград...»*

После отстранения Хорькова Главная московская контора искать нового управляющего не стала, а назначила в каждой деревне своего бурмистра из бывших приказчиков. Бурмистром деревни Юрово стал Василий Петров, личность

странная, до конца никем так и не разгаданная.

Было ему к тому времени далеко за сорок, ростом бог не обидел и первое впечатление, которое он производил на окружающих, было ощущение грубой, необузданной силы, исходившей от него, хотя никто не помнил случая, чтобы он эту силу применил. Жил Петров сам по себе, и не то чтобы скромно, но тихо, никого вокруг себя не замечая, ни в ком особо не нуждаясь. Сложен он был, прямо сказать, неуклюже, словно творец, который лепил его фигуру, устал от работы и не стал утруждать себя деталями. В итоге из-за большой головы и коротких ног Василий был похож на ярмарочного медведя. Однако и увальнем его назвать было нельзя – в любом деле он был сноровист и неудержим.

Появился Василий Петров в деревне Юрово двадцати пятилетним странником, но откуда – никто толком не знал. Поговаривали, что он из *керженецких* староверов и нижегородские сектанты выгнали его за несоблюдение каких-то канонов. На чужой роток, как известно, не накинешь платок, а сам он о себе ничего никогда не рассказывал. Не было в деревне человека более молчаливого и угрюмого, чем он.

Прижившись на новом месте, Василий притулился к вдове Акулине Мироновой, старше его лет на пятнадцать. Обвенчался с ней и стал отчимом тринадцатилетнему Яшке, но сход, тем не менее, земли пришлому мужику не дал. Хорошо ещё, что место в кузнице для него нашлось.

Неизвестно, был ли Петров раньше свободным, но чтобы не стать беглым, записался к помещику Меншикову крепостным. Ни имени, ни фамилии его никто толком в деревне не знал, а кто и знал, то вскоре забыл, потому как иначе чем Кувалда, его никто не называл. Только Акулина Миронова и шептала иногда темными ночами его настоящее имя.

Шли годы, у Акулины родилось несколько детей, но больше года-двух никто не выживал. Только самая первая дочь осталась – Дарья, тихое и не по возрасту разумное существо. Когда дочери исполнилось девять лет, Василий овдовел и всю свою бессловесную любовь перенёс на Дарьюшку; с пасынком отношения не заладились с первых лет совместной жизни. После смерти матери Яков привел в дом молодку, прорубил вход на другую половину избы и забыл дорогу не только к отчиму, но и единоутробной сестре.

Первый приступ падучей болезни у Дарьюшки случился в тринадцать лет во время игры со сверстницами. Она внезапно побелела, издала душераздирающий крик, упала без сознания и начала дергаться в конвульсиях. Из стиснутого рта пошла розовая пена, зрачки в глазницах вращались и трепетали. Подружки, смертельно напуганные, отбежали в сторону, кто-то догадался побежать в кузницу за отцом. Василий бережно отнес домой бесчувственное тело дочери, она вскоре пришла в себя и ничего не могла вспомнить или понять – что же с ней произошло.

Но с того дня не стало у Дарьюшки подружек, родители запретили подросткам общаться с «порченой», пугали, что кто прикоснется к ней, станет сам добычей сатаны или дьявола. Долгими летними днями и зимними вечерами занималась Дарья рукоделием, шила одежду себе и на продажу, готовила нехитрую снедь для отца. Домашней скотины они не держали, если не считать тощего кота, который добывал себе пропитание самостоятельно, и десяток пестреньких несушек во главе с диковатым огненно-рыжим петухом.

Приступы у Дарьи повторялись нечасто, но видеть их даже Василию было невыносимо. Он стал приглашать в дом колдунов и знахарей, одаривал их, чем мог, исполнял все предписания: поил дочь настоем чернотала со свежей куриной кровью. Потом оказалось, что надо было пить кровь не куриную, а козлиную. Давал корень пиона со струей бобра, мазал Дарьюшку навозом и медвежьим жиром, но болезнь не отступала.

Однажды он где-то разыскал ученого немца, который в отличие от русских доморощенных лекарей, практиковал в Германии, лечил баронов, курфюрстов, маркизов... Осмотрев девушку, он прописал ей глотать хлебные катыши со свежей девичьей кровью (только не своей, больной, а здоровой), которая истекает в определенный период каждый месяц. Этого религиозный отец уже стерпеть не мог и взашей выгнал антихриста из дома. На этом лечение несчастной дочери закончилось. Был, конечно, ещё один, настоящий – от Бога – способ вылечить

Дарьюшку, но местный батюшка Георгий Иванов наотрез отказался прижигать раскаленным церковным крестом темя страдальцы, да ещё пригрозил анафемой неугомонному отцу. И тот, наконец, смирился.

Между тем, у Дарьюшки оказались золотые руки. Однажды зимой она попробовала сделать кокошник. Вырезала очелье, скроила заднюю шапочку, да вот беда, нечем кокошник украсить. Попросила тятеньку купить ей разных ленточек, бусинок, ниток цветных. Отец был рад радешенек хоть чем-то доченьку потешить, скрасить её монашеское затворничество, искупить перед ней свою нечаянную вину.

Съездил он на московскую ярмарку, привез Дарьюшке бисеру разного, рубки перламутровой, лент ажурных, парчи да позумента. Засветилась Дарьюшка от такой роскоши, повеселела, и через неделю надела кокошник на свою головку. Ахнул грубый кузнец от голубого сияния снежинок и узоров морозных – даром, что обликом неуклюж, а красоту душа его сразу углядела. Говорить кузнец был не мастак, но как только в очередной раз в город выбрался, накупил не только бисеру, но и мелкого жемчуга, нитей серебряных и *золотных*, парчи и бархата разных цветов.

Задумала Дарьюшка к Масленице особенный кокошник смастерить – и сделала. Не кокошник у неё получился, а корона царская! По золотому очелью цветы невиданные вышиты, камушки цветные радугой переливаются; если внимательно присмотреться, то из цветов-то облик Богородицы складывается, а поднизь, что на лоб опускается, словно белое облачко под ликом Божественным...

В самый развеселый день Масленицы надела Дарья кокошник и вышла на улицу. Тихо и незаметно подошла к озорной толпе, которая веселилась около высокого столба, по которому лезли молодые мужики, чтобы достать перепуганного насмерть петуха. Кто-то, обернувшись, увидел Дарью, ойкнул очумело, и вся толпа замерла, не веря глазам, выдохнув протяжно и разногласно: «Боярыня!»

Про петуха на время забыли. Многие не узнавали Дарью, отвыкли от неё за два года отшельничества. Рассматривали кокошник со всех сторон, не могли поверить, что она сама такое чудо сотворила. Кто-то произнёс: – святая девка!

А может и вправду святая, а никакая не порченная? Порченной такое сделать не под силу! А коли святая, так не зазорно и попросить сделать кокошник на заказ...

Подошел отец и увел счастливую Дарьюшку домой.

Первый заказ поступил от бурмистра Фрола Евдокимова для дочери-невесты (он в 1799 году был ещё живой и богатый, убили его мужики спустя год). Прознали про мастерицу и в волостной Сабуровке, там купцы с размахом жили, драгоценных камней на кокошники не жалели. Дарьюшка делала любой заказ всегда будто последний, без спешки и суеты, тщательно выкладывая рисунок, никогда не повторяясь. Бывало, по месяцу уходило на плетение серебряных узоров и вышивку золотной нитью.

Хорошие кокошники считались семейной ценностью, они на ярмарке стоили сто рублей и больше. Дарьюшке платили половину цены, но всё равно, это были огромные деньги... Отец только удивленно хмыкал, глядя на купеческую расточительность. Сам-то он лет десять назад купил себе за рубль с полтиной шапку с бобровым подбоем, и искренне жалел, что нет у него сына-наследника, чтобы эту шапку ему передать.

За два десятка лет жизни в деревне Кувалда друзьями не обзавелся, но и врагов не имел. Родичей в округе у него не было – откуда бы им было взяться? Может так незаметно для окружающих и сошла бы на нет жизнь деревенского кузнеца, если бы не приглянулся он в 1801 году новому управляющему Хорькову, который его из общей массы выделил и сделал приказчиком. Выбор был удачным. Петров не пил вина, не хитрил, не воровал, все распоряжения управляющего выполнял всегда добросовестно. Юровские мужики нового приказчика (имя его пришлось-таки им вспомнить) не то, чтобы сильно уважали, но просто никому не приходило в

голову пререкаться с угрюмым Геркулесом; все понимали, что он сам, как и они, подневольная душа, и нечего зря словами сорить.

Прошло ещё два года. Дарьюшке почти девятнадцать – давно невеста, да только женихов у неё нет, и не предвиделись они. И пусть никто, кроме отца, страшных её припадков сейчас не видел, но на деревне быть святой ничуть не лучше, чем порченной. Ведь каждому понятно, что святость и дьявольщина неразлучны, как день и ночь. Её бывшие подружки давно повыходили замуж, а про Дарьюшку если кто и вспоминал, то не как о человеке из плоти и крови, а как о существе неземном, непредсказуемом, таинственном, не от мира сего и, значит, опасном...

После скандальной отставки Хорькова и неожиданного возвышения Василия Петрова, что-то в привычном порядке вещей сломалось. Первой это заметила Дарья. Отец, который раньше за весь вечер мог не сказать ни слова, занимаясь хозяйственными делами, нынче что-то спрашивал у дочери, стал захаживать в приказную избу, где целыми днями протирали штаны земский писарь. О кузнице он совсем перестал вспоминать, и это было странно.

Но главное, что пугало Дарью, была его внутренняя отстраненность от прошлой жизни, словно и не жил он в деревне до того дня, как стал бурмистром. Часто во время вечерней трапезы Василий неожиданно замирал с куском хлеба в руке, глядел поверх Дарьи мимо лампы и образов, устремляя свой взгляд в темный оком окна, словно высматривал что-то в неведомых далях... Дарья пугалась – что он видит там, в законной черноте?

Никто не знал, что творилось в скрытой душе Василия. Да он и сам не понимал, почему давным-давно минувшее прошлое вдруг стало выворачиваться в нем наизнанку? Он против своей воли мысленно всё чаще возвращался к когда-то оборванному, и казалось, навсегда забытому спору с единоверцами-керженцами. Оказалось, не забыл...

Всё чаще вспоминал Василий тот проклятый день, когда променял свою свободу на крепостную неволю, тот унижительный деревенский сход на лугу возле Сходни, когда ему отказали в праве на землю... Много незабытых обид, словно змеи, выползли из черных схронов его души...

Ничего этого Дарья не знала. Она со смутной тоской и страхом смотрела на неподвижное, каменное лицо отца, на его горящие, ничего не видящие глаза, на сжатые в кулак толстые пальцы, и трепетным сердечком чувствовала, как крадется к ним в дом лихая беда...

* * *

В череде важных дел 1803 года сенатор и светлейший князь Сергей Александрович Меншиков с группой других сенаторов, занимаясь проблемами помещичьих земель владений и готовил от имени Александра I очередной Манифест о привлечении переселенцев на просторы Российского государства. Это была уже не первая попытка царствующего дома хоть кем-нибудь заселить безлюдные окраины России.

На меже двух веков в Российском государстве сложилась странная ситуация: ни в Москве, ни в ближайших губерниях, ожерельем висящих на московской шее, земли не хватало – ни крестьянам, ни помещикам, ни купцам, ни даже иностранным концессионерам. Но чуть дальше этого пространства, так сказать, в третьем круге, земля пребывала в первобытной дреме – возделывать её было некому, и всякая пришлая орда за Волгой чувствовала себя среди спящего ковыля как у себя дома.

Какой смысл воевать и вытеснять крикливых османских головорезов с Причерноморья, неугомных шведов с побережья Лапландии, ставить на место заносчивых ляхов, если на завоеванных территориях некому бросить в землю горсть зерна? Лишь бесконечный императорский титул напоминал ученой Европе о том, что в состав России входили эстляндские, лифляндские, карельские, югорские, удорские, обдорские, кондийские, иверские, карталинские и прочие земли. Пора было делом подтверждать слова и отважная женщина, начавшая своё цар-

ствование свержением постылого мужа, обратилась на пяти языках к иноземным авантюристам, искателям приключений: «...*дозволяем в Империю Нашу въезжать и селиться, где кто пожелает...*»

Ну, не совсем, конечно, где кто пожелает... Чины Министерства внутренних дел быстро указали прибывшим колонистам своё место: Поволжские степи, а кому не страшно, то и Заволжские просторы.

Провозглашенные Екатериной II в Манифесте льготы и привилегии, были поистине царскими: бесплатный проезд до волжской глухомани, кормовые деньги на весь путь (восемь гульденов в день – немалые деньги!). По приезду – каждой семье корова и две лошади, никаких налогов в течение тридцати лет, свобода от рекрутской повинности... Всего и не перечислишь, но главное, – 30 десятин* земли на каждое хозяйство. (Вот бы удивились этакой щедрости крестьяне Куркина или Юрова, где на каждое тягло приходилось всего три-четыре десятины тощей суглинистой земли).

* *десятина* – чуть больше 1-го гектара.

И всё это происходило в то время, когда сама Россия была до предела истощена войнами. Армия несколько месяцев не получала жалованье, военное ведомство по уши погрязло в долгах, купечество разорялось, духовенство исподлобья смотрело на власть из-за отнятых у монастырей земель. Как всегда, процветали только продажные суды, которые в России никогда не являлись правосудием, – и в это самое время Екатерина выступает перед Европой с Манифестом: *Милости просим, приезжайте, живите, берите нашу землю!*

Вся голодная и бездомная шпана Европы, главным образом немцы, потомки богатых и надменных Нибелунгов, мигом собрались в дальний путь, благо собраться ей – только подпожсаться. Особенно веселые среди этой публики, на границе поворачивались спиной к фатерланду и, приспустив штаны, под хохот соплеменников говорили своё последнее «прощай»: «Die grausame Heimat, du kannst mich heute in den Hintern küssen!» *

* (нем.) Жестокая Родина, можешь поцеловать меня сегодня в задницу!

Чтобы благовоспитанный читатель не обвинил меня в неуместных грубых выражениях и излишнем очернительстве, приведу несколько цитат из книги Христиана Голоб Цюге «Русский колонист», изданную в Германии в 1802 году (о тех самых первых немецких переселенцах эпохи Екатерины II).

Он писал:

«...*Отщепенцы искали в необъятных далеких местах жилье, потому что Отечество выплюнуло их, уготовив им несчастную судьбу отверженных людей...*»

А вот ещё:

«...*Бескультурщина, которая в любом положении чувствует себя вольготно, если только может беспрепятственно предаваться своим прихотям... В числе переселенцев сгруппировались несчастные, которых удары гадкой судьбы или преследования соотечественников выгнали из Отечества...*»

И ещё о них же: «*И самые многочисленные – легкомысленные люди, ищущие приключений, готовых к любому отважному предприятию, или неопытные, которые поддались на льстивые обещания золотых гор и в этом нисколько не сомневающиеся...*»

Нет оснований не верить старинному документу. Христиан Цюге, немецкий писатель-публицист, путешествовал вместе с этими людьми пароходом из Любека в Санкт-Петербург, а уже оттуда конная экспедиция доставила переселенцев на волжские земли.

Первый набор колонистов по признанию российских полицейских властей был, мягко говоря, не особенно благополучным. В местах поселений царили беспорядки, мордобой, гра-

бежи. Не случайно довольно быстро управление колониями передали от «Канцелярии опекунства иностранных переселенцев» Министерству внутренних дел, которое решительно начало наводить в новоявленных колониях «немецкий порядок».

Однако вернемся к нашему светлейшему князю, который со товарищи заканчивал писать важный государственный документ. Предполагалось, что после опубликования Манифеста в начале 1804 года сенаторы выедут в Европу, чтобы на месте решать вопросы переселения в Россию добровольных мигрантов из стран Европы.

Была у них ещё одна (разумеется, тайная!) миссия, которую сенаторам (каждому в отдельности), изложил в приватной беседе министр иностранных дел граф Александр Романович Воронцов. Речь шла об изучении политической обстановки и быстро растущего влияния Наполеона в Европе.

Сергей Александрович Меншиков резонно решил, что до поездки в Германию было бы полезно побывать в одной из действующих немецких колоний, ибо негоже сенатору обнаружить вдруг некомпетентность перед чиновниками магистратов и прочими местными ландратами.

И вот в конце августа 1803 года конный поезд светлейшего князя, состоящий из пяти тарантасов, запряженных каждый четверкой лошадей, отправился в дальний путь. Сопровождали сенатора чиновник Канцелярии опекунства переселенцев коллежский советник Смирницкий Андрей Андреевич и молодой полковник Министерства внутренних дел Саблин Петр Николаевич.

Кроме двух государевых людей в свиту Меншикова входили: его личный секретарь Шубенской Стефан Ефимович, Главный управляющий всех имений Горленков Николай Севостьянович, слуги и разная челядь – человек пятнадцать-двадцать: камердинер, писарь, кучера, два повара – белый и черный, гайдуки, фореитор*, был даже свой кузнец...

**фореитор* – кучер, сидевший верхом на передней лошади.

* * *

За две недели пути князь Меншиков и полковник Саблин сблизились так, что в неофициальной обстановке называли друг друга по имени-отчеству. Чиновник же из *Канцелярии Учтивых Манер* Смирницкий неизменно величал Сергея Александровича сугубо официально, несмотря на попытки Меншикова перейти на дружеский тон. В конце концов, Меншиков махнул рукой и стал отвечать ему тем же казенным официозом...

Несмотря на постоянно меняющийся пейзаж, дни путешествия были однообразны и утомительны. Дорога петляла между желтеющими травянистыми холмами, исчезая за горизонтом. Тарантасы катились и катились вперед, останавливаясь только на отдых и ночлег. Погода, по счастью, стояла сухая и теплая. На ясном, выцветшем небе чуть замет

но передвигались редкие облака, прозрачные настолько, что тени от них не падали на землю. Вдоль оврагов, где протекали ручьи, поднимались густые заросли леса.

Наконец конный поезд пересек границу Саратовской губернии; путешественники подъехали к Петровску – когда-то он имел крепостные укрепления, был форпостом на путях жесточайших степняков. Теперь глазам путников открылся маленький сонный уездный городок. Меншиков стряхнул с себя дрему и обратился к Смирницкому Андрею Андреевичу, чиновнику из *Канцелярии необжитых земель*:

– Ваше высокоблагородие, далеко ли ещё до немецких колоний? Может, в Петровске остановимся, заночуем, а утром двинемся дальше?

– Ваша светлость, до темноты мы приедем в Аткарск, там ночевать удобнее и немецкие поселения оттуда совсем рядом – до полудня следующего дня приедем на место.

Дорога пошла вдоль широкой, но мелкой речки. С левого крутого берега был хорошо виден пологий правый, где у самой кромки воды толпились многочисленные кусты, словно пришли на водопой.

– Ваше высокоблагородие, как называется поселение, в которое мы держим путь?

Смирницкий достал из-за обшлага листочек, давно готовый к этому вопросу:

– Колония Розенфельд, ваша светлость. Основана в числе первых в 1766 году, в ней девять хозяйств, 475 жителей, есть церковь, школа на 120 учеников, а также ткацкая артель, магазин и продовольственные склады.

Меншиков поморщился: «Господи, до чего же дотошный. Может, он сам из немцев?», но тут же учтиво спросил:

– А что за речка, ваше высокоблагородие, вдоль которой мы едем?

– Это Медведица, ваша светлость. Кстати, колония Розенфельд расположена на этой самой реке.

Полковник Саблин, слушая их разговор, посмеивался в густые усы: «Как они оба за столько дней с ума не сошли от постоянного повторения своих титулов?» Саблин повернулся к князю и демонстративно, манкируя Смирницким, спросил:

– А вы знаете, Сергей Александрович, здесь великолепные места для охоты! Нигде нет столько медведей, как на этой реке. Они даже на дорогу иногда выходят. Тут главное лапу ему таранасом не отдавить, чтобы он не обиделся... Ха-ха-ха!

Андрей Андреевич осуждающе посмотрел на молодого полковника: «Разве можно так разговаривать со светлейшим князем? Какие они всё же развязные, эти жандармы».

Начало смеркаться. Вдали угадывались черные крыши Аткарска. Когда подъехали ближе, городок поразил своим безлюдьем, словно по нему накануне прокатилась дикая пугачевская орда. Но на ночлег обустроились хорошо.

Утром следующего дня делегация двинулась дальше. Проехав верст десять и поднявшись на очередную возвышенность, конный поезд остановился: взору путников открылась немецкая слобода.

Странное это было зрелище: в широкой долине, чуть в стороне от реки, раскинулся поселок похожий на большую шахматную доску с однообразными фигурками, неотличимыми друг от друга ни по цвету, ни очертаниями, и потому лишенный живописности русских поселений.

Прямые улицы и пересекающие их под прямым углом переулки, нанесенные бесстрастной рукой чертежника, усиливали скучную монотонность человеческого обиталища. Глаза гостей настойчиво искали хоть какое-то разнообразие, присущее живым людям. Четыре ветряные мельницы и шпиль католической церкви в центре – вот и всё, что оживляло унылый плоский генплан колонии.

Один из переулков слободы был превращен в пруд с широкими перемычками-плотинами, по которым перебегала с одного берега на другой добротная дорога.

Светлейший князь долго смотрел на компактную, крепко сбитую немецкую слободу и, повернувшись к своему управляющему, спросил:

– Николай Севостьянович, почему все наши деревни растянуты в одну линию на версту, а то и на две? Из конца в конец дойти невозможно.

– Ваша светлость, для русского мужика, особенно после шинка, главное – не расстояние, а направление, чтобы ему с пути не сбиться. Свой плетень он на ощупь найдет. А в такой квадратно-гнездовой деревне и трезвому-то трудно свой дом найти, а уж после кабака – совсем швах...

Полковник Саблин не замедлил одобрительно хохотнуть, и чиновник Смирницкий с сожалением подумал о князе: «Распустили Его светлость своих помощников, вон как они вольно позволяют себе разговаривать...»

Тарантасы тем временем скатились в долину и, прогромыхав колесами по бревенчатому мосту через Медведицу, въехали на центральную площадь. Высокая кирха, обнесенная плотно стоящими молодыми липами, возвышалась над плоским ландшафтом. На устремленном в небо остром шпиле помимо креста красовалась фигурка петуха.

Меншиков, иронично глядя на высоко взлетевшего петуха, обратился к чиновнику из *Канцелярии Тмутаракани*:

– Ваше высокоблагородие, какому Богу здесь народ молится?

Андрей Андреевич Смирницкий ирониию не принял:

– Бог у всех един, ваша светлость, обычаи лишь разные.

Меншиков пребывал в хорошем настроении и продолжал гнуть своё:

– А что там петух делает на шпиле возле креста? Неужели в таком месте флюгер поставили?

– Петух? ... – Смирницкий серьёзно, словно отчитывался на коллегии своей колониальной Канцелярии, доложил: – Согласно библейским преданиям петух своим криком трижды известил Христа о предательстве одного из его учеников, ближайшего апостола. Христос мог внять этому предупреждению и избежать ареста, но не стал этого делать. Он до конца нёс свой крест и взошел с ним на Голгофу. И был распят за грехи человеческие. Не случись этого, не было бы и Великого прощения, не наступила бы Новая эра, в которой мы сейчас живем. Католики и лютеране особо чтят петуха – для них это голос христианской совести.

Меншиков, Саблин и секретарь Шубенской смущенно переглянулись: «Хм, этот ученый сухарь из *Канцелярии Переселения Народов* опять всем нос утер». За всё время неблизкого путешествия Андрей Андреевич ни разу не произнёс фразы: «не знаю».

...Из ворот кирхи к важным гостям спешил священник.

* * *

Бергер Вендель – управляющий Розенфельда. Он сегодня явно при параде: под коротким жилетом с блестящими металлическими пуговицами белая рубашка с отложным воротником, шею украшает широкий черный галстук; поверх жилета темно-синий полукафтан; штаны заправлены в сапоги с длинными хромовыми голенищами.

От Смирницкого князь Меншиков уже знал, что Бергер приехал в Приволжье вместе с отцом в 1766 году с первой партией переселенцев. В то время ему было всего шестнадцать, а сегодня – пятьдесят три. Он жив – здоров, дела в колонии идут неплохо, но однажды колония была на краю гибели. А случилось вот что:

Осенью 1774 года отца Бергера – Фридриха Венделя, землепашца из Майнца, убили пьяные казаки Пугачева. Слободу тогда разграбили и разорили дочиста. Старосту, казначея и писаря, покуражившись, повесили первыми для устрашения остальных, многих колонистов увели с собой. Захваченные казаки потом говорили, что колонисты ушли к Пугачеву добровольно, но это неправда... Спасибо губернским властям – после подавления бунта выжившим колонистам помогли семенами, лошадьми и вообще...

Хлебосольные хозяева пригласили гостей за стол, и повели неспешный разговор о жизни немецкой общины. Когда колонисты узнали, что светлейший князь повезет в *Faterland* указ с приглашением новых переселенцев, радость тут же выплеснулась на улицу. Возле дома Бергера Венделя, несмотря на разгар страды, толпился народ.

Меншиковские повара неотступно опекали местных кашеваров, пробуя все блюда, ничего не пропуская. Пища у колонистов, конечно, сытная и достаточно разнообразная, но

ужасно пресная. «Нет, братцы, без русского хрена и горчицы светлейшему князю мясо лучше не подавать...» Местные кухмистеры только радостно кивали головами.

В самом начале застолья Сергей Александрович вдруг заметил, что за празднично накрытый стол усаживаются одни мужчины. Он бурно запротестовал:

– Нет-нет, герр Вендель, стол без хозяйки – что дом без цветов, – (князь успел заметить на всех подоконниках горшочки с геранью, китайской розой, столетниками) – познакомьте нас с вашей дражайшей супругой!

Важному гостю не откажешь. Ева Барбара, крепкая женщина лет сорока, расцвела от комплиментов русского барина. А русский барин совсем не прост, у него свой умысел: как можно больше узнать об обитателях колонии, их планах, проблемах, настроении.

Меншиков с интересом смотрел на жену местного управляющего. Её обветренное лицо, покрытое рыжими веснушками, трудно было назвать красивым – оно отражало суровый быт колонии. Голову женщины прикрывал чепец, завязанный на затылке под скрученной косой. Тонкая белая рубашка и душегрейка без рукавов с широким вырезом вокруг шеи и зубцами в талии, красиво подчеркивали ещё не увядшую статью. На загорелой груди лежали крупные желтые бусы; поверх длинной с красными разводами юбки, была ещё одна – синяя, короткая. Белый с цветами по подолу кисейный фартук давал понять присутствующим, что она всё-таки больше хозяйка в доме, чем гостья за столом.

А на столе для дорогих гостей, как водится – что Бог послал: гуси, запеченные с яблоками, молодые фаршированные поросята, кольца истекающей жиром колбасы, свиные ребрышки, жаркое из баранины, рыба речная в яичном соусе, сало с галушками, лапша на масле, вареники с творогом, картофель в разном виде, пироги из тонкого теста, уложенные сверху земляничкой... Русские и немецкие повара были довольны друг другом. На кухне полным ходом шел процесс братания двух народов.

Полковник Саблин нацелил прищуренный глаз (пока ещё трезвый) на батарею бутылок и разнокалиберных бочончков из дерева и керамики. Взгляд его был понят правильно, и хозяйка охотно подливали гостям можжевелевую водку, коньяк, какие-то крепкие наливки. Гости делали то же самое хозяевам. Полковник был неистощим в тостах, за которые невозможно было не выпить. Все вели себя непринужденно, любвеобильно, однако чутко вслушиваясь в громкие застольные речи. Каждая сторона рассчитывала на раскрепощенную откровенность друг друга. Закончилась неспешная трапеза обоюдными дружескими похлопываниями по плечу и горячим пуншем на коньяке...

За три дня, прожитых в колонии, гости увидели и поняли многое. Каждый вечер Бергер Вендель рассказывал русским господам о жизни своих соплеменников на окраинной русской земле, отвечал без утайки на все вопросы, показывал мастерские, скотные дворы, амбары и магазины. В один из дней Бергер организовал сенатору и его спутникам поездку в соседнюю колонию – Вальдхоф. Двадцать пять верст в один конец отмахали, в общем-то, напрасно: ничего нового Меншиков не увидел – те же дома, огороды, пруды, поля...

Колонисты-немцы бороды не носили, многие брили и усы. Чистоплотный образ жизни спасал от многих болезней и эпидемий, поэтому семьи в пять, шесть и даже семь детей были здесь не редкость. Общая черта всех переселенцев – великое трудолюбие, терпимость к неизбежным тяготам. Набожность колонистов показалась русским гостям какой-то не настоящей, скорее, привычно-обязательным ритуалом. Каждый праздник все обязательно посещали церковь – за этим строго следил священник.

Рядом с церковью находилась большая одноэтажная школа: восемнадцать саженей в длину и восемь в ширину. Начальное церковноприходское образование было обязательным для всех детей. Сельский сход зимой собирался в здании школы. Весной, летом и ранней осе-

нюю колония вымирала: все население, в том числе и дети, пропадали на полях, гумне, лугах... Герр Вендель, вздохнув, добавил:

– Не только в страду, вся жизнь колонистов – вечный, сплошной, нескончаемый труд. Почти всё, что у нас есть, мы делаем собственными руками.

Секретарь Меншикова Шубенской Стефан Ефимович прекрасно владел немецким языком. У него тоже были свои вопросы:

– Герр Вендель! Где знакомятся ваши парни и девушки? Вы понимаете, что замкнутость колонии, в конце концов, не может не повлиять на качество потомства?

Вендель помрачнел:

– Это особая проблема. Мы по большим праздникам общаемся с соседями, но постоянно встречаться молодые люди разных колоний не могут. Никто не хочет уезжать из своей деревни; у всех тут родня, братья и сестры, – это очень непросто переехать в чужую колонию... Только вдовы или вдовцы иногда переезжают...

Перед отъездом Сергей Александрович Меншиков имел продолжительную беседу один на один с Бергером Венделем. Только личный секретарь князя Шубенской сидел рядом и делал пометки в своём гроссбухе.

– Герр Вендель, воспитание ваших детей в колонии достойно подражания – оно достаточно нравственное и религиозное. Но ваша молодежь совершенно не знает и не изучает русский язык. Почему вы не пригласите в свою школу учителей русского языка, никого не отправляете учиться в российские губернские города? Нельзя относиться пренебрежительно к стране, которая вам дала землю и возможность устроить свою жизнь более-менее благополучно.

Бергер Вендель понял, что время комплиментов закончилось, и начался разговор государственных мужей:

– Ваша светлость, в Манифесте Екатерины II ничего не говорилось, что мы должны будем вести бесконечную войну с дикими племенами кочевников, которые нас постоянно грабят и убивают. Наши поля изрядно политы кровью колонистов. Российские власти нас не защищают, получается наоборот – это мы защищаем ваши города от набегов дикарей...

Светлейший князь не перебивал и не возражал собеседнику. Он прекрасно знал из правительственных секретных циркуляров и предписаний то, о чем сейчас говорил герр Вендель. В голове Меншикова рождалось твердое убеждение, что надо каким-то образом подселать сюда русских людей, строить здесь предприятия, открывать фабрики, и заодно учиться у немцев хозяйствовать на земле.

А Бергер Вендель не без обиды продолжал:

– Ваша светлость, вы имели возможность убедиться, что мы неплохие хозяева и сами хорошо знаем, что и когда надо выращивать. Зачем губернские власти заставляют нас высаживать тутовые деревья, разводить шпанских овец? Завтра кому-то придет в голову переженить нас с киргизами или бурятами для освежения немецкой крови. Эти вопросы мы как-нибудь решим сами. Давайте лучше обсудим, как нам наладить торговлю с метрополией? Нам жизненно необходимо куда-то девать излишки зерна и мяса. Сейчас мы начали возделывать табак – на него большой спрос в России. Нам многого здесь не хватает: леса, строительных материалов, стекла, краски, разного инвентаря для обработки земли, инструмента для изготовления мебели, посуды... Давно пора строить в Поволжье фабрики, заводы, мастерские... Вот о чем надо думать губернским властям...

Беседа была долгой, не всегда приятной, но предельно откровенной. В конце концов, собеседники расстались вполне довольные друг другом.

На следующий день гости покинули Розенфельд.

* * *

После возвращения князя из немецкого Поволжья Главная контора Меншикова разослала по своим подмосковным вотчинам циркуляры о целесообразности создания в сельских общинах школ, обучения детей грамоте, о наведении чистоты в жилищах и дворовых территориях, о внедрении железного плуга вместо деревянной сохи, многопольного севооборота с плодопеременной системой...

Бурмистр Василий Петров, слушая монотонный бубнеж писаря, не понимал, чего от него хотят московские управители. «Школы им нужны... ишь, барские причуды... кому надо, тот сам научится читать, а писать – у нас писарь имеется, за это он хлеб наш ест».

– Кузьма, чего ты там про оборот плодов пробормотал? Ты читай, да растолковывай, чего барин-то изволит?

– Что написано, то и читаю, а растолковывай сам, я писарь, а не толмач.

– Ты от общины содержание имеешь, вот и делай, что тебе говорят.

– От такого содержания ноги скоро протяну. Меня, вон, филинские мужики к себе зовут. Они окромя капусты и картошки ещё и мясо обещают.

– Мы тоже обещаем... Я тебе за такие разговоры башку оторву...

Мудреное послание Главной московской конторы деревенские бурмистры вскоре забыли, да, видимо, и в самих Черемушках-Знаменском о нем никто не вспоминал. Жизнь в деревне катилась своим чередом.

Как-то на исходе зимы в легких санках в Юрово прикатил на рысаке человек от соседнего помещика Дивова, нашел бурмистра Петрова и подал ему бумагу:

– От барина нашего Андрея Ивановича заявление.

– Ты мне бумагу под нос не тычь, говори, чего надо.

Человек презрительно усмехнулся и доложил:

– Мужика вашего наши люди в лесу за воровством схватили, у нас в темной клети сидит. Барин тебя желает видеть.

– А на кой я ему? Поймали вора, ну и разбирайтесь с ним.

– Барин наш, Андрей Иванович, конечно, разберутся. Но ежели по-доброму – штрафом отделаешься, иначе через Земской суд убытки взыщем. За этакий-то позор твой барин Меншиков с тебя немилостиво спросит.

«Ишь, сукин сын, ухмыляется, знает, подлец, что за всё мне приходится ответ держать». Василий зло посмотрел на дивовского приказчика:

– Кто вор?

– Дометием Гавриловым назвался.

«Ну, дрань еловая, я тебе покажу почем фунт лиха». Не глядя на посланника, коротко бросил:

– Скажи, скоро буду.

Человек снова презрительно усмехнулся, прыгнул в санки, весело гикнул и покатил прочь.

Известно, что бьют не тех, кто ворует, а тех, кто попался. Бурмистр, забрав у Дивова вора, уплатив изрядный штраф, сразу привез Дометия на общественное гумно, кликнув десятских Егора и Гаврилу Яковлевых.

– Валите вора на лавку, и руки ему вяжите.

Дометий почуял недоброе. Бывало, конечно, что мужиков за провинность пороли, но руки никогда не вязали. Заискивающе посмотрел на Кувалду:

– Василий, ты меня шибко перед женой-то не позорь, с кем греха не бывает, не я первый, не я последний.

– Вот мы с тебя и начнем учить уважать чужое добро.

Василий Петров бросил десятским витой, сыромятный кнут:

– По двадцать пять плетей каждый. Кто слабину проявит, сам на лавку ляжет.

Первый же удар свистящей плети прожег несчастного Дометия до озноба. Вскоре он начал извиваться и кричать всё отчаянней, пока крик не перешел в сдавленный, закушенный вой. Исподняя рубашка и подштанники набухли от крови. Егор, передавая скользкий кнут Гавриле, отводил глаза в сторону. Гаврила посмотрел на бурмистра:

– Не выдержит, концы отдаст.

– Коли жалко, ложись сам, я тебя лично уважу. Ну! – ненависть и угроза хрипели в голосе Кувалды. – Ну!

Гаврила взмахнул сыромятиной. Дометий затих, и только судорога, пробежавшая после каждого удара по упавшим к полу рукам, показывала, что жизнь ещё теплилась в истерзанном теле. Ошметки рубахи перемешались с пластами окровавленной кожи. Бесчувственное тело бросили в сани и отвезли к избе Дометия. Евдокия, молодая жена, увидев обезображенное тело мужа, завывала в отчаянии, и её жуткий вой не стихал до глубокой ночи. Дометий не умер, выжил, но оправиться от немочи, слабости и кровавого харканья так и не смог. Бурмистра Кувалду с того дня стали в деревне по-настоящему бояться и ненавидеть...

Были времена, когда по Сходне ходили струги, русло было чистое и широкое. Возле мельничных плотин в ямах водилась крупная рыба: налимы, сомы, сазаны, окуни. В береговых камышах прятались щуки и прожорливые голавли. Господа часто забавляли своих гостей рыбной ловлей. Нашего барина, светлейшего князя, на сходненских берегах не видывали, а Дивовы на противоположном берегу любили с гостями у реки погулять.

Местным мужикам ловить рыбу на реке запрещалось – им рыбалка дозволялась (если не жалко время терять) только в прудах. А что в прудах поймешь? – сорных ротанов да ершей... Управляющим, бурмистрам и прочим служивым людям разрешалось на реке жерлицу забросить, с удочкой постоять, но за это они были обязаны беречь речное добро от мужицкого разора. С этими жиганами чуть не догляди – враз всю живность в реке изведут.

Василий Петров берёт хозяйское добро на совесть. Не потому, что шибко господ любил и был им чрезвычайно предан. Он очень любил свою власть над людьми и ради её сохранения перешел, даже не заметив этого, из одного состояния рабства в другое – гораздо худшее.

Став бурмистром, он получил право казнить или миловать, но на этом его власть и заканчивалась. Миловать он не умел, и не потому даже, что жизнь его самого никогда не жалела, а оттого, что молодое вино его души, когда-то перебродив, не заискрилось, не излилось хмельной волной любви и созидания, а закупоренное в душном пространстве скукоженной души, превратилось в уксус, и никого уже не могло радовать. То недолгое счастье, которое поселилось в доме, когда мастерица-Дарьюшка всем на удивление рукодельничала, стинуло с приходом проклятой власти над односельчанами. В темных углах избы поселился постоянный страх и тягостное ожидание беды.

Однажды на исходе лета, проезжая поздним вечером верхом по кособогу, где заканчивались деревенские огороды, Кувалда заметил мелькнувший на реке огонёк невдалеке от плотины, словно шальная рыбка, выскочив из воды, блеснула на солнце серебром чешуи, и скрылась в темной глубине.

«Что за огонь ночью на пустом берегу? Похоже, кто-то кремнем искру высекает, куревом балуется...» – бурмистр шевельнул поводьями и не спеша начал спускаться к реке. Густая травяная стерня скошенного луга делала шаги лошади почти не слышными...

Закончив перекур, Игнатий Иванов, сорокалетний мужик, и его двоюродник Фадей Иванов тридцати лет начали заводить бредень на всю ширину Сходни. Подхватив в руки «клячи» *, браконьеры двинулись от плотины вниз по течению. Пройдя по воде полсотни сажений, Фадей, шедший вдоль правого берега, повернул к левому – в мотне билась рыба и пора было её вытаскивать. На середине реки вода доходила до плеч, и он не без труда тащил за собой «клячу».

**клячи* – шесты, за которые тянут рыболовную снасть.

Подхватив верхние и нижние чалки, мужики осторожно начали вытягивать сеть на берег. Темная мгла скрывала их от дальнего взгляда, но вблизи они хорошо различали друг друга, действовали быстро и слаженно, обмениваясь тихими короткими командами: «тяни», «давай», «прими». Наконец, вся упруго шевелящаяся мотня улеглась на берегу. Мужики облегченно распрямились, не отводя глаз от улова.

Знакомый жесткий голос прозвучал так неожиданно, что даже небесный гром не сразил бы браконьеров сильнее. В десяти шагах от них за ивовыми кустами верхом на лошади сидел бурмистр и поигрывал плетью.

– Или овес жать, или рыбу жрать, а вместе никак не получится! – прибаутка деревенского сатрапа была зловещей.

Мужики застыли на месте, не в силах шевельнуться. Мокрая одежда облепила тела, словно путами, сковывая движения. Их преступление было таким явным, что рассчитывать на снисхождение этого зверя не приходилось. Расправу полугодовой давности над Дометием, в селе хорошо помнили.

Первым очнулся от страха Игнатий. Именно он уговорил Фадея пойти ночью за рыбой, уверяя, что Кувалда уехал в город и вернется не ранее, чем через пару дней. Рука Игнатия метнулась к ножу, висящему на поясе: терять ему кроме своей жизни, было нечего.

– Ну, Кувалда, убью!

За шаг до лошади бегущего безумца встретил сокрушительный удар плетью в лицо. В глазах Игнатия вспыхнул ослепительный жгучий свет, и в этом ярком сиянии он уже ничего не мог разглядеть. Удары сыпались сверху один за другим, обжигая лицо, шею, руки. Ища спасения, пятясь назад, Игнатий рухнул с берега в воду. От судорожного всхлипа в горло хлынула вода...

Ноги у Фадея подкосились, он упал на колени, обмирая от страха. Перед глазами его бились, изгибались рыбы тела. Они из последних сил искали спасения. «Надо бы их отпустить, спихнуть в воду» – мелькнула у Фадея нелепая мысль, но пошевелиться было страшно: над ним, заслоняя звездное небо, висел неумолимый всемогущий Дьявол, который решал, что ему делать с ничтожной земной тварью.

Дьявол тихо приказал:

– Вставай! И без глупостей! Ежели что – запорю насмерть! Иди к приказной избе!

Пленник и его конвойный вышли на черный ночной луг. Позади за жидкими пучками ивняка холодно и враждебно плескалась вода. Пленник шел молча, ни о чем не моля своего палача. Знал, это – бесполезно. Откупиться ему не чем, да и невозможно было соблазнить Кувалду: ни денег, ни угощения он никогда не брал. Ночь в чулане под замком была последней ночью Фадея в родной деревне.

Утром писарь повез связанного мужика в волость, в жандармский околоток. Суд был скорый и, с точки зрения дворянского уложения – правый: пять лет каторги. С тех пор Фадея Иванова в Юрове никогда больше не видели.

Игнатия Иванова похоронили без шума: утонул человек, с кем не бывает. Следователь в деревню даже приезжать не стал, ограничился писулькой, которую под диктовку бурмистра настроил писарь...

* * *

С того самого происшествия на ночной реке совсем плохо стало Дарье. Давно уже никто не говорил о ней благоговейно «Святая!» – вообще никак не говорили. Просто забыли про

её существование. Дарья чувствовала растущую черную пустоту вокруг, которую заполняли смердящие привидения. Чьи-то тени или оскаленные лица появлялись и исчезали в её маленьком ночном оконце. Она и сама уже не помнила о том, что когда-то мастерила кокошники, шила и расшивала узорами одежду. Приступы падучей участились, но отца чаще всего не было рядом, и она, помертвевшая, скрученная судорогами, с прокушенным языком, часами лежала в неудобной позе, медленно приходя в себя.

Дарья перестала замечать присутствие отца в доме, перестала слышать его голос, даже когда он окликал её. А может он и не окликал? ни о чем не спрашивал? ничего не говорил ей? Худой, вечно голодный кот, незаметно и окончательно исчез из дому – Дарья этого тоже не заметила. Она и сама всё больше походила на больную, зараженную лишаями, неопрятную кошку, которая не знала для чего и зачем живет. Она часами лежала ночью без сна в своей крохотной горенке, слушая завывания дымохода, нескончаемую мышиную возню, однообразную песню сверчка, которую не заглушал даже храп отца за тонкой перегородкой.

Сквозь хор ночных звуков Дарья слышала голоса на другой половине дома, где жил её одноутробный брат с женой и двумя детьми – десяти и восьми лет. Яков свою половину расширил, приткнул к ней теплый флигель, небольшой хлев, на задах поставил сарай для сена. За все годы ни Яков, ни племянники, ни разу не зашли к ней. Никто не приходил к ним в дом.

Дарья лежала на сундуке, перехваченном металлическими полосками, и её уже не первую ночь преследовало одно и то же видение: она плывёт по небу на облаке в окружении белоснежных ангелов. Они летали вокруг Дарьюшки, садились рядом с ней на невесомый край перины, о чем-то беседовали и смотрели на неё. Потом они смотрели вниз, и Дарья тоже смотрела вниз. С небесной выси она видела неширокую серебристую речку в зеленых берегах. В сверкающей воде лицом вниз плыл человек. Когда облако поравнялось с ним, он поднял голову, и Дарья увидела, что у человека нет глаз, черные глазницы пересекали глубокие шрамы, но он улыбнулся Дарьюшке и, опустив голову, поплыл дальше. Она спрыгнула с облака и, скользнув вниз, пошла за ним по сверкающей воде...

Широко раскрытыми глазами Дарья смотрела в темное оконце, за которым опять, то приближаясь, то исчезая, маячила чья-то тень. Ни глаз, ни носа, ни рта разглядеть было невозможно, но Дарья знала, что ночной гость пришел к ней и, услышав осторожные шаги в сенях, нисколько не удивилась и не испугалась. Она встала, сняла с божницы лампадку, и пошла босиком, в белой сорочке встречать гостя.

В сенях никого не было, крохотное желтое пламя освещало только её руки, едва достигая стен. Дарья потопталась, повернулась назад и увидела голову, вернее, глаза, в которых прыгал огонек лампы, мокрую полоску зубов, огромные руки, глядящие темно-синее острие топора. Девушка глухо вскрикнула, тело её затряслось в конвульсиях, и она упала на сухие холодные плахи пола. Лампадное масло растеклось, фитиль, освобожденный от оков, затрепетал веселее и ярче...

Когда пляшущий свет пожара вломился в окна соседних изб, прибежали люди, помогли семье Якова что-то спасти от огня, увели детей и животных, защитили сено. Спасать другую половину дома было уже поздно, да и желающих лезть в пекло не было. Утром, среди дымящихся головней нашли обгоревшие останки двух человек. Поскольку погиб бурмистр, приехал разбираться следователь, но, покрутившись на пожарище целый день, никаких признаков убийства или злонамеренного поджога не обнаружил. Списали на несчастный случай – и дело закрыли.

* * *

Может показаться, что над сходненским поместьем князя Меншикова витал неодолимый рок: то с одним бурмистром произойдет темная история, то с другим, то управляющий запу-

тается в махинациях... Такие истории случались часто и повсеместно. Нередко бывало, что помещик или управляющий доводил своих крестьян до такой отчаянной смелости, что те хватили злодея за грудки, волокли на конюшню и секли его розгами, не думая о том, что будет завтра. А назавтра их ждала Сибирь, каторга, рекрутчина, арестантская рота...

Власть помещика и его управляющих над крестьянами была беспредельной. Их могли проиграть в карты, обменять на лошадей или столовые сервизы, продать фабриканту-заводчику, переселить в другие места. Помещик, продавая мужа отдельно от жены, а детей – от родителей, и не считал, что поступает бесчеловечно. Крепостную семью из пяти человек продавали в начале XIX века за восемьдесят – сто рублей ассигнациями (ассигнации дешевле «настоящих», серебряных денег в два-три раза).

В газете «Московские ведомости» за 1802-1806 годы не были редкостью объявления: «*продаются девка лет 30 и молодая гнедая лошадь*», «*продается мальчик 17 лет и мебели*», «*продается горничная – очень уж умна, в барыни захотела*». Проиграть горничную в карты считалось среди малопоместных русских дворян особым шиком...

Когда-то, ещё при молодом Петре I, барщина составляла два дня в неделю. Юровские и машинские мужики спустя сто лет об этом уже и не догадывались. С трудом помнили они барщину четырех – пятидневную, потому как работали на барина (вернее, на управляющего) по шесть, а то и семь дней в неделю. Тех, кто на работу не выходил (даже по болезни), приказчики колотили палками для острастки других. Если крестьянин от побоев умирал или становился калекой, самодуров-помещиков под суд не отдавали.

Конечно, помещику, управляющему, или приказчику закон убивать крепостных крестьян не разрешал, но убийства случались в каждом имении. И если вдруг принималось решение наказать виновного, то происходило это исключительно символично. Нельзя же подрывать государственные крепостные устои...

В 1806 году молодым русским дворянином, публицистом и поэтом Андреем Сергеевичем Кайсаровым была опубликована смелая и очень передовая диссертация «Об освобождении крепостных в России». Опубликован сей труд отнюдь не в России, а в Германии, где крепостное право предавали анафеме, начиная с эпохи Возрождения.

Неисповедимы пути Господни. В 1812 году профессор русской словесности Кайсаров, будучи патриотом, записался в русскую армию, служил в типографии при главном штабе. Всезнающие штаб-офицеры не преминули подsunуть его диссертацию Михаилу Илларионовичу Кутузову, ярому стороннику крепостничества. Пробежав глазами крамольный труд, генерал возмутился, затопал ногами: «*Эта писанина есть ни что иное, как набат, призыв к бунту, она зловредна и терпима быть не могущая*» ... Чтобы завершить нечаянное отступление от главной темы, сообщу, что Андрей Кайсаров ушел из штаба в партизанское сопротивление, где и погиб в тылу противника...

Назначать нового бурмистра из местных мужиков, вместо погибшего Василия Петрова, Главная московская контора Меншикова не стала. Очень уж убого жила деревня под жестоким неграмотным бурмистром. Хотелось видеть что-то напоминающее жизнь и порядок немецких колоний Поволжья, поэтому на должность управляющего сходненской вотчиной был приглашен сорокалетний морской офицер в отставке Гохман Альберт Карлович.

Откуда появилась такая убежденность, что любой немец, будь то сапожных дел мастер или морской офицер – большой специалист по обустройству русской деревни? Мол, стоит только поставить во главе сельской общины немца, как она сразу, благодаря германскому порядку, цивилизации и прогрессу, начнет удивительным образом преображаться и процветать?

Альберт Карлович говорил по-русски вполне сносно, но с таким акцентом, словно специально подчеркивал своё иностранное происхождение. Порой эта нарочитая неправильность

речи раздражала не только деревенских мужиков, но и чиновников Главной конторы Меншикова.

Поселился Гохман по традиции в старом господском доме сельца Филино. После увольнения прощтрафившегося секунд-майора Хорькова, филинского бурмистра (из местных мужиков) Ивана Лося в господский дом не пустили. Там жила старая экономка и немногочисленная прислуга, которая блюла в доме порядок. Редкие гости из московской конторы и разная меншиковская родня, проезжая по Петербургскому тракту, иногда останавливались здесь на ночлег.

Лось – это не фамилия, а прозвище. Родилось оно в результате скандальной свадьбы. У молодого мужа после первой брачной ночи появились сомнения в целомудренности суженой. Утром он закатил грандиозный скандал, обвинив всю женину родню в обмане. Молодых с трудом помирили, но большие рога прикипели к Ивану сразу и навсегда.

На новое место службы Альберт Карлович Гохман прикатил в сопровождении меншиковского секретаря Стефана Ефимовича Шубенского, который всю дорогу рассказывал новому управляющему о немецких колониях в Поволжье, где он имел честь побывать вместе с Его светлостью князем Сергеем Александровичем три года назад.

Приехав в Филино, Альберт Карлович Гохман дал распоряжение собрать утром следующего дня мужиков в центре поместья, то есть в Машкино. Что он им будет говорить, управляющий пока не знал, но не сомневался, что найдет нужные слова, как только увидит толпу местных крестьян.

На другой день Альберт Карлович проснулся в восемь утра. Молодой слуга, услышав, что барин зашевелился, просунул голову в дверь и уважительно, но без подобострастия поинтересовался, что подать господам на завтрак: – кофею или чаю?

Гохман – сильный и мускулистый – вскочил с постели, сгоняя последние остатки сна. Завтракая, он почувствовал легкое волнение из-за предстоящей встречи с мужичьим сходом. За окном было пасмурно – не зря накануне под окном громко квакали лягушки. У ворот, почтительно сняв картузы, стояли деревенские приказчики – пришли доложить, что народ собрался. Слуга принес барину вычищенные до блеска ботинки, подал сюртук.

Гохман и Шубенской вышли во двор. Пахло свежей зеленью и влажной землей. К воротам подкатила пролетка и господа отправились в Машкино. Около сотни мужиков заполнили проезд в центре деревни; глубокая колея разбитой дороги была заполнена глиной. Ни одного зеленого островка не было на деревенской площади – кругом топкая грязь.

Гохман покрутил головой, поджал губы и предпочел остаться в коляске. Шубенской Стефан Ефимович даже не стал изображать, что хотел бы сойти на землю. Мужики, увидев господ, начали снимать шапки и картузы. Многие стояли, согнувшись в поясе, опёршись на палки, и были заметно смущены тем, что не могут перед новым управляющим в знак уважения встать на колени. Гохман смотрел сверху на седые, плешивые, нечесанные головы и прикидывал, с чего бы начать. С экспромтом что-то не заладилось.

Сверху мелкими капельками сыпала теплая морось, она блестела на волосах, впитывалась бородами, темнела на ворсе крестьянских кафтанов. Мужики, осмелев, смотрели на управляющего и ждали, что он им скажет. Породистое, холеное лицо барина украшали густые усы и шотландская бородка, слегка завитые волосы были аккуратно зачесаны назад, под глазами висели мешки – след тайных пороков или большого утомления переездом. Белые руки красиво держали черный цилиндр.

«Индок!» – тихо обронил кто-то. Слово понравилось и навсегда приклеилось к бывшему флотскому офицеру. Альберт Карлович, стоя в коляске, не мог расслышать своего, только что родившегося прозвища, но перемену настроения толпы уловил – оно было не в его пользу. Молчание становилось смешным. Обстановку разрядил находчивый, самоуверенный Стефан Ефимович:

– Господин ваш, светлейший князь Сергей Александрович, направил вам нового управляющего, человека ученого, служивого, хозяина доброго и рачительного. Отныне все распоряжения Альберта Карловича Гохмана вам надлежит исполнять неукоснительно.

– А говорить-то он могёт? – прилетел из толпы голос.

Секретарь с улыбкой посмотрел на управляющего:

– Альберт Карлович, уважь своих мужиков, объясни им, что к чему прислоняется: метла к дому или дом к метле.

У Гохмана от вчерашнего благодушия и сентиментальности, и следа не осталось, даже речь его стала подчеркнута немецкой:

– Я глядеть на вас и видеть, что ви не любите аккуратность и порядок. Такой дорога нельзя иметь. Ви избалованы, здесь долго не был настоящий хозяин. Я видеть отчеты – это имяние приносить мало дохода, но теперь много будет другое, ви будете работать льючше. В каждой деревне будет староста, который будет исполнять мои указания.

На следующий день старосты Юрово, Машкино, Филино собрались в конторе управляющего. Альберт Карлович достал рукописный журнал, какие-то листки, записки; нашел, что нужно, и начал просвещать своих помощников:

– По новому положению крестьян можно наказывать только по доказанной вине, не более 25 ударов розог; если один человек дважды был наказан 25 ударами розог, то в третий раз наказание увеличивается до 50 ударов. Каждое наказание записывается в журнал. Четвертое наказание докладывается в Главную контору с описанием вины, и оттуда будет высочайшее указание, как поступить с нарушителем: либо переселить в другую местность, либо отдать в солдаты, либо в арестантскую роту... – Гохман поднял голову: – Никакой беззаконий или самодурство, как было раньше, больше не будет...

ДЕРЕВЕНСКИЕ БЫЛИ И НЕБЫЛИ

Глава 3

Чем глубже Альберт Карлович Гохман вникал в жизнь русской деревни, тем больше испытывал к ней неприязнь. Жила она вроде бы по писаным законам, но в итоге всё получалось по не писаным. Да и те, которые писаные, вместо надежной опоры всему здравому и полезному, висели над людьми карающим мечом, запрещая всё и вся.

Первое время управляющий пытался что-то внушать мужикам, и даже настаивал на выполнении своих чудаковатых прихотей: привести личные дворы и постройки в божеский вид, выкопать канавки вдоль дорог, убрать грязь... Но хитрый мужик сразу потребовал за это уменьшить оброк, снизить налоги, отменить штрафы, простить долги – тогда, мол, наскребём грошей на ваши барские затеи.

Главная московская контора отнеслась к начинаниям въедливого немца с недоумением: чистота и порядок, вообще-то, дело хорошее, но о снижении оброка или податей не смей и заикаться. «Вы, Альберт Карлович, не понимаете, что Россия – это не Германия. На русской земле немецкие порядки не приживаются. У наших крестьян ум изощреннее немецкого; если наш мужик говорит, например, «два», имея в виду доходы, то никому неизвестно, сколько у него при этом на ум пошло».

Не понимал Гохман и того, что нарочитая нищета крестьянских жилищ, босоногие и голозадые дети есть попытка крепостных людей уберечься от алчных глаз. Не дай бог хозяину увидеть в доме мужика достаток. Тогда от неурочных дополнительных поборов не отвертись.

Крепостной деревенский народ до того привык маскироваться нищетой, что она стала образом жизни. Обитателям убогих жилищ и в голову не приходило замостить двор камнем, купить красивую посуду, нарядную одежду, отмыть и одеть вечно чумазых, сопливых детей...

В конце концов, Гохман и мужики притерпелись друг к другу. Альберт Карлович оставил свои бесплодные попытки переделать окружающий мир, обратив все свои эстетические замашки на обустройство собственного гнездышка. Уют и порядок в доме он ценил очень высоко.

На стенах гостиной не замедлили появиться весьма интересные картины, написанные маслом. Большое венецианское зеркало в овальной раме старомодного рококо притягивало взгляды гостей изысканными завитушками; угловой диван, обтянутый розовым в мелкий цветочек шелком, был щедро завален вышитыми подушками. За диваном на прочной подставке из ценного дерева стоял мраморный бюст древнегреческого философа Протагора, который всю жизнь морочил головы аристократам Акрополя: «*Нет истин на земле, и Бога нет!*». Перед диваном лежала шкура матерого волка с оскаленной пастью; его остекленевшие глаза смотрели на всякого входящего грозно и неотступно. Какая прекрасная аллегория! Гохману мнилось, что этот зверь олицетворяет его самого...

Кабинет вмещал в себя застекленный шкаф с книгами, массивный письменный стол с внушительным креслом, мягкую тахту, застеленную шотландским пледом – для дневного отдыха. Гордостью хозяина был ломберный столик с инкрустацией из дорогих полированных камней. Поскольку гости-картежники были в этом доме большой редкостью, то Альберт Карлович убивал своё одиночество, раскладывая на столике пасьянсы. Особенно любил «*Петуха в своей деревне*», когда короля червей окружали четыре дамы...

Надо отдать должное Гохману – управляющий любил и умел жить красиво.

Через полгода после вступления отставного офицера в должность управляющего, в Филине, наконец, появилась его жена – молодая, красивая баронесса Амалия Михайловна Козловская, дочь генерала, имевшего богатое имение под Ревелем (*ныне Таллинн* – **прим. автора**).

Амалия приехала не одна – с сыном пяти лет и трехлетней дочкой, в сопровождении бонны – обрусевшей англичанки. Пасторальная деревенская идиллия на берегах Сходни продолжалась недолго: через пару месяцев быстрая в принятии решений баронесса сняла в Москве квартиру и укатила в белокаменную с детьми и гувернанткой. Сельская жизнь даже в уютном гнездышке мужа ей совершенно не приглянулась: от «немецкого порядка» веяло скукой и однообразием. Всё, что было интересно обсудить, супруги обмусолили в три дня. За пределами дома заняться Амалии было совершенно нечем. Не ходить же ей, в самом деле, с корзиной, как крестьянской бабе, по дубравам и ельникам грибы-ягоды собирать! Маленькие барчуки тоже не нашли здесь товарищей – с деревенскими детьми они разговаривали на разных языках и потому не понимали друг друга.

Благодаря регулярным поездкам Альберта Карловича в Москву, у него не возникало ощущения брошенного мужа, наоборот, после небольших разлук любовь Амалии всегда была желанной и романтической.

Самодурства при Гохмане действительно стало меньше. Местные мужики были к управляющему справедливы – хотя он и немец, но человек оказался вполне порядочный и даже благородный, зря никого не обижал. Только работать «по-немецки» мужики всё равно не стали – никакой выгоды для себя они в этом не видели.

Однажды во время приезда Гохмана в Главную московскую контору там вспомнили свечную историю с отставным секунд-майором Хорьковым, давно разжалованным в рядовые. Идея поставить в Машкине мастерскую по производству свечей Альберту Карловичу понравилась сразу, и он получил на то официальное благословение.

Машкино в те времена зело бедствовало. И без того маленькая деревня делилась на две вотчины: Меншикову принадлежало восемь дворов и шестьдесят три души обоих полов, а князю Долгорукову – четыре двора с тридцатью пятью душами. Конечно, любой заводик или мастерская пошел бы нищей деревне на пользу.

Для свечной мастерской за лето поставили бревенчатый сруб, соорудили амбар для сырья и готового товара, сделали навесы для дров. Ещё по весне Гохман отправил Петра Трофимова, тридцатидвухлетнего женатого, но бездетного мужика в село Старицу Тверской губернии учиться мастерству на свечном заводе. Счастливая мать Петра утром и вечером клала поклоны перед божницей, каялась в своем грехе и, промаявшись месяц, пошла к батюшке Георгию Иванову на исповедь.

– Прости меня, батюшка, грех на мне большой. Прошлой осенью не приходила на исповедь, не причащалась... – Мария Дмитриева сглотнула комок, замолчала...

– Это мне ведомо. Говори, ничего не скрывая, раба Божия Мария.

– Овдовела я прошлый год. Муж-то мой Трофим *переселся* * на поле, сильно хворал. Как уж я просила Господа о милости, но не уберег Он мужа. А следом и внука Гавриила забрал. Хворали мы тогда, все в лежку лежали – никто не помог. Бедствовали страшно. *Упясталась* ** я, разуверилась в милости Божьей, потому и не пошла на исповедь... – Мария снова замолчала.

* *Переселся(устар)* – надорвался работая.

** *Упясталась (устар)* – сильно устала.

– Что же ты нынче пришла?

– Стыдно мне перед Богом, виновата я перед Ним. Сына моего Петра мастерским сделали, деньги хорошие платят, видно дошли до Господа мои молитвы и слезы. Прости меня, батюшка!

– Бог простит. Да видно уже простил, коли не оставил тебя своей милостью. Впредь такого греха на душу не бери, может статься, что не успеешь исповедаться и покаяться, тогда на том свете никогда покоя не найдешь. Иди с миром, раба Божия Мария... Всё у тебя будет хорошо!

* * *

Не только свечной мастерской запомнился мужикам управляющий Гохман. В десятом году на Масленицу он такой устроил переполох, в такой азарт мужиков ввел, что и спустя годы вспоминали в деревнях про тот случай.

Вернее сказать, не сам Гохман праздничный переполох устроил – этот педант и сухарь не способен на удаль и размах, а дружок его, сослуживец по морской службе. В общем, расскажу всю историю по порядку.

Альберт Карлович был человеком гостеприимным, но не часто скрашивали желанные гости его одиночество в деревенской глубинке, а нежеланные, которые появлялись гораздо чаще, чем ему хотелось бы, были для Гохмана всегда в тягость. Пустопорожние длинные разговоры во время вечерних посиделок раздражали и утомляли его, и лишь положение хозяина дома удерживало за столом.

Своих товарищей по морской службе управляющий Гохман не забывал, переписывался с ними, приглашал в гости в «чудесный подмосковный уголок на Сходне». И вот на Масленицу прикатил к нему сослуживец Богуславский Виктор Романович, капитан-поручик линейного 100-пушечного корабля «Гавриил». Если быть до конца точным, то парусник «Гавриил» уже полгода стоял в ремонте, а Виктор Романович проходил службу во 2-м Балтийском флотском экипаже, то есть на кронштадтском берегу. Именно там он научился новой игре, которая была чрезвычайно популярной среди офицеров Его Величества.

В ворохе багажа, который бородатый кучер споро выгружал во дворе управляющего, внимание Гохмана привлек громоздкий короб и связки ровных круглых палок – полдюжины длинных и два десятка коротких.

Альберт Карлович поинтересовался:

– Зачем ты эти деревяшки привез? У меня есть дрова, правда, не такие ровные.

Богуславский засмеялся:

– Сейчас посидим, поговорим, и я покажу тебе новую иг-

ру. В своём экипаже я чемпион по разбиванию фигур.

– По разбиванию... каких фигур?

– Я всё потом покажу, а сейчас будь добр, прикажи, чтобы этот короб осторожно занесли в дом.

– Что в этом коробе? Фигуры, которые ты будешь разбивать?

Богуславский был в отличном расположении духа, поэтому много и непринужденно смеялся.

– Мой дорогой друг, это чудесная вещь! Я купил её недавно в Петербурге на ярмарке. Называется – самовар! В нем кипятят воду, получается превосходного вкуса чай. Ты такого ещё не пил!

– Ты сам варишь еду? Эти круглые дрова для самовара?

Виктор Романович снисходительно вздохнул:

– Эх ты, братец, отстал от жизни. Ты чай пьёшь? Или в своей глуши одним квасом про- бавляешься?

– Почему одним квасом? И чай пью, и пунш делаю.

– Вот я тебя сегодня чаем из своего самовара угощу, пусть только дворовый уголей из печки запасёт.

Прошли в дом; прислуга готовила комнату для гостя, накрывала стол в гостиной – кругом стоял тот веселый переполох, который случался только по приезду желанного гостя. Под руководством Виктора Романовича на кухне распаковали таинственный короб.

– Осторожно! Не зацепите кран! Так! Поставьте на ножки! Вот так! Принесите ведро воды, щепочек и уголей!

Альберт Карлович и прислуга с интересом рассматривали странное сооружение: медный прямоугольный ящик, почти кубической формы, опирался на кривые, гнутые ножки. В нижней части начищенного до блеска ящика между ножек торчал кран с вращающейся фигурной ручкой. Над металлическим ящиком на короткой черной шее, сидела маленькая головка, обрамленная венчиком. Ручки с двух сторон медного куба напоминали уши, и ещё больше придавали сооружению схожесть с живым существом, готовым сию секунду побежать на своих тонких кривых лапках.

Виктор Романович вынес самовар на крыльцо, залил в него воду, настрогал лучинок и потребовал огня. Дружно вспыхнувшие лучинки полетели в железное нутро самовара, следом Богуславский сыпанул горсть уголей. Дворня с интересом наблюдала за манипуляциями веселого гостя. Они-то кипятили воду для чая в «белых» чугунах на огне кухонных жаровен.

– Чего стоите, рты разинув? Ну-ка быстро найдите мне старый сапог!

Дворня растерялась – старых сапог в доме не водилось. Выручил Альберт Карлович, ради такого дела тут же снял и протянул Богуславскому свои высокие, телячьей кожи сапоги...

Чаепитие затянулось надолго, самовар разжигали ещё не один раз – вся прислуга сгорала от любопытства и желания попробовать «барского» чаю. Богуславский зорко следил, чтобы челядь по незнанию не расплавила самовар: вещь была по тем временам ещё редкая и дорогая. Игру с разбиванием фигур отложили на завтра...

Утро выдалось по-праздничному шумным. Над избами клубился веселый дым и, чуть поднявшись над крышами, устремлялся вниз, обещая оттепель. Масленица в Филине наби-

рала обороты. Молодежь развлекалась скромно, с оглядкой на взрослых: каталась на санках, девушки стайками прогуливались в праздничных полушалках, неженатые парни, неловко – как умели – оказывали им знаки внимания. Мужики постарше, изнывая от безделья, сбивались в кучки, баловались табаком и дурковали в поисках развлечений. Тут-то и вышли из господского дома Альберт Карлович и его гость, неся в охапке биты и рюхи.

Разметили на чистом месте два квадрата, прочертили линию кона, откуда бросать длинные палки, и Богуславский начал показывать, как строить из пяти коротких рюх различные «фигуры». Дело оказалось несложное и через пять минут господа начали метать биты по своим городкам.

Казалось бы, куда проще – с пяти-шести сажений попасть палкой по «колодцу», «слону», «воротам», однако биты у Гохмана под сдержанный смехок зрителей летели куда угодно, только не в цель. Глядя на Богуславского, мужики шумно выражали своё одобрение: «фигуры» у него словно притягивали к себе, брошенные тяжелые дубовые палки.

Вскоре, с непривычки, у Альберта Карловича зануло плечо и он окончательно сдался. А Богуславский ещё толком и не разогрелся, не вошел во вкус. Он призывно оглядел зрителей: кто готов выйти с ним на поединок? Но мужики, подначивая друг друга, не решались принять вызов.

А на Богуславского вдруг нашел кураж. Он велел Тимохе, конюху управляющего, слетать в дом – «одна нога здесь, другая там» – и принести самовар. Балагурия и посмеиваясь, морской офицер поставил диковинную вещь на середину дороги:

– В небо дыра, в землю дыра, посередь огонь да вода! Кто у меня выиграет, тому и отдам!

По рядам зрителей пошло волнение. Разбитной конюх, вчера пивший чай из самовара, тут же заявил о своих притязаниях на дорогой приз.

Гость Гохмана не стал сразу же демонстрировать свой чемпионский класс, он «давал надежду» новичку и позволил себе даже отстать на пару ударов. И только в конце «с трудом» вырвал победу у Тимохи, тем самым сохранив приз в неприкосновенности.

Тимохе «*вожжа попала под хвост*», ведь счастье было совсем рядом, и он возбужденно заявил о желании сразиться ещё раз. Куда там! Толпа мужиков, сама собой быстро вытянувшаяся в подобие очереди, ответила наглому конюху рёвом: «Пошел прочь, ты уже свою удачу испытал. Вставай-ка вон в конец!»

Азарт захлестнул деревню. Слух о причуде приезжего господина мигом долетел до Машкина, эхом отдался в Юрове и Куркине – народ бежал в Филино со всех сторон...

Каждый удачный бросок биты очередного соискателя приза толпа встречала восторженным криком. Виктор Романович умело подогревал страсти. Давно он не испытывал такого удовольствия от игры! От него шел пар, на губах ощущался солоноватый вкус пота, он чувствовал себя дирижером огромного представления...

Очередь распалась на команды – филинские теснили на задворки жидкую команду Машкина, юровские считали филинских придворными холоуями и поэтому не уважали, куркинских вообще никто не любил. Каждая команда выставляла своего бойца и ором решала, кому сейчас сразиться с хозяином самовара. Все видели, что куражистый гость устал, всё чаще бросал биты неточно, и предчувствие неизбежной победы кружило мужикам головы.

Яркое, по-весеннему лучистое солнце, весело отражалось в каждой детали сверкающего красной медью самовара. Запах овсяных блинов, плывущий вдоль деревни, напоминал о празднике и тоже подогревал страсти.

С очередным игроком вышла заминка: куркинские и юровские никак не могли договориться, чья сейчас очередь. Уступать никто не хотел – всем казалось, что настало время решающей игры: появился опыт, а противник явно устал.

Два игрока вышли к месту метания биты и стали отнимать палку друг у друга. Кто первый звезданул соперника по морде, попробуй разберись, но уже через мгновение куркинские и

юровские сошлись стенка на стенку. В ход пошли не только кулаки, но и удобные для такого дела биты. Полетели наземь картузы, затрещали рубахи и зипуны, соскочившие с ног лапти навсегда теряли своих хозяев.

Филинские бросились разнимать дерущихся, машинские, не разобравшись в ситуации, ударили им в тыл. Сколько бы продолжалась эта битва, никому неизвестно, но истошный крик «Самова-а-ар!» отрезвил мужиков. Сплюывая на землю с розовой слюной зубы, и запахивая зипуны, они стали мирно, как ни в чем не бывало, расходиться.

На месте побоища в мелкой весенней лужице лежал самовар. Медные его грани были сильно помяты, на черной шее исчезла маленькая головка с венчиком, но самое ужасное – у самовара не было крана. На том месте, где недавно красовался замысловатый вращающийся вензель, зияла черная дырка ...

Долго вспоминала вся округа ту веселую масленицу. Мужики, цыкая щербатыми ртами, добродушно посмеивались: «Хорошо тогда погуляли!».

* * *

У крупных помещиков на все случаи жизни были в хозяйстве хорошие специалисты: сапожники, портные, столяры-краснодеревщики, шорники, каретники, фельдшеры и ветеринары... Держал ли когда-нибудь Сергей Александрович Меншиков в своем имении театр с крепостными актерами, как, например, Юсуповы, Долгоруковы или Волконские, – не знаю, лишнего сочинять не буду, а вот то, что крепостных детей–сирот светлейший князь Меншиков отправлял на учебу, известно доподлинно.

Учили рукастых недорослей у мастеров известных, часто столичных. Три-четыре года учебы за великий срок не считался, но кончившие обучение обязаны были вернуться к своему благодетелю. Цена такого крепостного работника на невольничьем рынке возрастала в десятки раз, и если он, пренебрегши господской милостью, всё-таки искал счастья на стороне, то и оброк ему барин назначал значительно выше, нежели неученому мужику.

Только несведущие люди могут полагать, что помещик, кроме как о собственных удовольствиях, ни о чем другом не думал. Бывали, конечно, исключения, но в течение одного-двух поколений легкомысленные, «без царя в голове», господа разорялись вчистую.

Да любой крестьянин, гоня свою лошадку на пашню, не забывал её напоить-накормить, и отдых ей дать, чтобы завтра она снова исправно тянула ярмо.

Короче говоря, та давняя поездка по немецким колониям даром для сенатора Меншикова не прошла. Мысль о школах для крестьянских детей всё время бередила голову просвещенного крепостника и однажды, в начале 1809 года, вызвав к себе управляющего Гохмана, он решительно потребовал открыть в сходненской вотчине школу.

– Поставьте новую избу возле церкви, в ней же и учителю жильё определите. Собственных детей учить будем бесплатно, а ежели из чужих поместий охотники до учебы будут, то за умеренную плату следует тех детей тоже принимать.

– Слушаюсь, ваша светлость!

Меншиков помолчал, что-то прикидывая в уме:

– И ещё. Обслугу для школы подберите из местных. Подготовьте смету на все расходы и до Крещения представьте на утверждение в Главную контору.

– Слушаюсь, ваша светлость!

Школу возле церкви Владимирской иконы Божией Матери к концу лета поставили. Запрашивая разрешение в Синоде на строительство, Меншиков неожиданно получил на эти цели безвозмездную ссуду в тысячу рублей, а местный дьяк Иван Васильев приобрел право работать по совместительству учителем Закона Божьего. Наняли в школу сторожа-истопника –

грозу местных мальчишек, отставного хромого служаку Косму Яковлева; подобрали и хозяйку – бездомовую солдатку Евдокию Афанасьеву – для поддержания в школе чистоты и порядка.

А вот с учителем вышла заминка – не нашлось такового в округе. Альберт Карлович долго голову ломать не стал: обязал «сеять разумное, доброе, вечное» сельского писаря Кузьму Назарьева. Тридцатипятилетний мужик, давно отвыкший от землелашества, новому назначению был рад – общинное содержание писаря было более чем скудным. Ещё при жизни бурмистра Кувалды писарь грозился уйти от юровской общины к филинской, которая обещала кормить сытнее, но видно не хлебом единым жив человек. От родной земли корни оторвать не долго, а вот приживутся ли они на новом месте – это ещё большой вопрос.

Светлейший князь Сергей Александрович Меншиков закупил для школы буквари, тетрадки, бумагу, прислал аспидные доски и белые грифели к ним; дьяк Иван Васильев разжился часословами и псалтырями. Хоть завтра можно начинать занятия, но вот уже и лето к концу подходит, а ни одно-

го прошения о приеме ребенка в школу не поступило.

Обескураженный таким положением дел Альберт Карлович обязал учителя пойти по домам. В чем дело? Знать грамоту, уметь читать и писать вроде бы хотели все – тогда почему нет желающих пойти в школу?

На краю деревни Юрово, от которого до Машкина рукой подать, стояла изба Феодора Романова. Старый вдовец тихо доживал свой век в угловой клетушке. В избе, где жили три его сына с невестками и стайками детей, отца никто не жаловал, более того, тихо проклинали.

Лет пятнадцать тому назад, когда Федор был ещё полон сил и сыновья его Изот, Анисим и Игнатий беспрекословно ему подчинялись, у главы семейства было заведено неукоснительное правило: по осени часть денег из сезонного дохода прятать «на черный день». Где отец их прятал – зарывал ли в землю, хоронил ли в каком дупле, или в хлеву тайник соорудил – ни жена, ни сыновья не знали. Сыновья законно рассчитывали со временем получить от отца свою долю. Так и жили – скромно, экономя каждую копейку. Возможно, от вечной нужды и жена Федора Романова раньше времени в могилу сошла.

Однажды, после завершения сезона и очередной тайной отлучки отца, глава семейства появился в избе в страшном смятении – на нём буквально не было лица. Из бессвязных слов старика родня только и поняла, что «деньги из тайника пропали». На ночь глядя сыновья искать тайник не пошли – отец был как полоумный и ничего толком сказать не мог. Решили, что утро вечера мудренее. Федор Романов ночью глаз не сомкнул: сидел на лавке и обреченно мотал головой. Он то мычал, как глухонемой, то скулил по-щенячьи, то безутешно плакал, не откликаясь на голоса невесток, не замечая рядом с собой перепуганных внуков.

Утро мудренее не стало. Отец, по всем признакам, тронулся умом и стал совсем плох. Сыновья запоздало спохватились, что давеча ночью всё-таки надо было пойти со стариком искать тайник, или крепко напоить его водкой, тогда, глядишь, всё и обошлось бы.

Попытки найти тайник ничего не дали. Несколько раз они выводили блаженного отца на двор, за околицу, но тот только счастливо улыбался и нёс околесицу. Когда стало ясно, что многолетние накопления безнадежно сгинули, в доме зазвучали проклятия. Отца переселили в крохотную клетушку, проявляя к нему полное небрежение...

В это самое семейство и зашел под вечер новоявленный учитель Кузьма Назарьев. У старшего из братьев, Изота, подрастали дочери Ефросинья, Евдокия и сын Аким восьми лет; у среднего – Анисима – два сына, у младшего – Игнатия – две дочери, все отроки школьного возраста.

– Здравствуйте вам, дорогие хозяева! Хлеб да соль вашему дому!

– Здорово, Кузьма, коль не шутишь. Чего вдруг нелегкая занесла? – Изот отложил в сторону недоплетенный куль.

– Дак небось слышали, что школу нынче открываем при храме?

– Слыхали-не слыхали, а нам-то с того какая доука?

– Ты, Изотушка, дурака-то не валяй. Школа – не кабак, где ум пропивают, в школе детей уму-разуму учат. У вас ребятни вон полная изба. Али ты не хочешь, чтобы они грамоту разумели?

Прозрачный намек насчет кабака Изот проглотил молча – не время собачиться. Кликнул жену:

– Ульяна! Разыщи-ка Анисима и Игнатия. Скажи, чтобы в избу шли. Писарь, мол, зовет.

– Не писарь, а учитель!

Когда все собрались, Кузьма Назарьев стал рассказывать братьям, какую школу для детей барин построил, да какие красивые книжки в школу завезли, да как это хорошо – грамоту знать... Братья угрюмо молчали.

Кузьма начал злиться: «Они что, не понимают, какое им благо задарма свалилось?», но сдержался. Ему строго-настрого было сказано призывать на учёбу убеждением, а не угрозами или силой.

– Ну, записываем детей в школу? Через год читать и писать будут не хуже меня.

Анисим, глядя в пол, хмуро возразил:

– Барин зазря учить детей не станет, потом заберет себе в дворовые, али куда ещё учиться пошлет, а я без работников и наследников останусь?

Игнатий тоже осмелел, голос подал:

– Зимой-то оно, конечно, дел в хозяйстве немного, можно детям и книжками побаловаться. Дак ведь чтобы им в школу ходить, это же каждому обувка и одежда теплая нужна, тулупчик там, шапки, рукавицы. Где ж такого добра на всех разом напасть?

Не уговорил Кузьма братьев Романовых отдать детей в школу. И в других избах тоже никого не уговорил. Не доверял народ господской милости: это ведь что мурлыканье kota возле мышиной норки. Учеба-то сделает детей ещё более несвободными. Если уж учить детей грамоте, то не по барской воле, а дома собственным разумением.

Провалить открытие школы Альберт Карлович никак не мог, поэтому без долгих уговоров потребовал от приказчиков и десятских, прислуги и прочего служивого люда отправить своих недорослей с середины октября в школу. Из близлежащих сел Соколово и Барашки на учебу записалось два-три подростка. В общем, с десятков учеников набрали, и школа начала работать.

Справедливости ради следует сказать, что светлейший князь немало постарался, чтобы привлечь деревенских детей к учебе. Ученикам к Рождеству выдали овчинные шубы, шапки, рукавицы – на три года, суконные кафтаны на подкладке, холстинные рубахи и порты – на один год. А особо успешным и прилежным по окончании учебного года подарили яловые сапоги. Родители, которые были шибко несговорчивые, теперь крепко призадумались, и на следующий год желающих учиться стало вдвое больше.

Появился в школе и новый учитель, который учил детей не только чтению и письму, как писарь Кузьма, но и арифметике, и грамматике. Стараниями дьяка Ивана Васильева каждое утро в школе начиналось чтением молитв, а днем матушка Евдокия Егоровна учила детей хорошему пению:

*«Где-то там далеко, и когда-то давно,
Жил премудрый и опытный старец,
Он всегда говорил, беспрестанно твердил:
– Слава Богу за скорбь и за радость...»*

* * *

Церковный дьяк Иван Васильев уже четверть века – с 1785 года, служил в куркинской церкви Владимирской иконы Божией Матери. Батюшка Георгий Иванов уже тогда был в ней настоятелем. Матушку Елену Михайловну прихожане всей округи любили за искреннюю душевность и неизбывную сердечную доброту. Сыночек их Андрей два года как поступил учиться в духовную семинарию в Заиконоспасский монастырь в центре Москвы. Как знать, может после рукоположения и вернётся священником в родное Куркино, но быстрее всего оставят его при Патриархии: удался Андрей Егорович и статью, и умом.

А вот поповская дочь Люба – увы, не красавица; ни на мать, ни на отца совершенно не похожа: круглое одутловатое лицо с детства портили прыщи. Приглашенные на пробор, туго зачесанные назад негустые светлые волосы, изъян не прикрывали, а наоборот – выставляли напоказ. Уже и двадцать лет девице минуло, а прыщи всё не сходили с её лба и овальных скул. Никакие настои ромашек, ноготков и подорожника не помогали.

«Замуж девку надо! – усмехались деревенские бабы, – да где подходящего жениха такой невесте найдешь? Ей же суженого из духовного сословия подавай».

Выход из семейной проблемы, как всегда, нашел сам батюшка, отец Георгий. Какие бы в жизни ни случались затруднения, он никогда не пасовал перед ними. Не раз и не два съездил настоятель куркинской церкви к московскому Патриарху, пока добился расширения прежнего притча – при церкви ввели должность пономаря. Осталось только человека на эту должность найти, а если честнее сказать, то жениха для дочери.

Известное дело, готовые пономари за околицей не шастают: которые есть – всегда при службе состоят. Пришлось брать в учение вьюношу шестнадцати лет, он тоже оказался Георгием. Ну, чем не жених для невесты двадцати одного года, у которой батюшка – надо же, как пономарю повезло – настоятель церкви!?

Венчали молодых по обряду, но в домашнем кругу. Сельчане батюшку любили и появление пономаря, замужество Любы восприняли как добрый знак для своего прихода.

Молодой пономарь глядел на настоятеля преданно, исполняя свои обязанности ревностно, как и надлежит начинающему церковному служке. Роста он был невысокого, по молодости лет безусый и безбородый. Светлые волосы спадали челкой на лоб; такого же цвета были едва заметные брови и ресницы. Если бы не церковное облачение, можно было мимо него пройти и не заметить. Но голос у юноши был чистый и высокий, Он скоро начал петь на клиросе, читать псалмы во время богослужения. Любимым ритуалом пономаря было возжигание и гашение светильников. Он делал это так чинно и торжественно, что прихожане любовались им. Не гнушался пономарь уборкой храма и алтаря. Батюшка Георгий был вполне им доволен, а уж Люба-то как была довольна! После венчания она заметно подобрела, стала куда охочее к мирским радостям жизни.

Жаль, недолго длилось благодное счастье святого семейства. В конце 1810 года, через полгода после свадьбы, шестидесятивосьмилетний отец Георгий, до конца выполнивший в этой жизни долг перед людьми, преставился с миром и отправился держать ответ перед Господом. Матушка Елена Михайловна крепко любила своего Егора, и после его праведной кончины не вынесла горькой разлуки, и вскоре ушла за ним следом.

Прежде чем рассказать о новом настоятеле куркинской церкви, пришедшему на смену почившему батюшке, отдадим должное уважение скромному дьяку Ивану Васильеву.

Иван был сыном ратника Василия и девицы Марфы, которая не убоясь тягот походной жизни, готова была с малым дитем на руках идти за своим суженым хоть на край света. Краем света оказался город Ржев, где прихожане особо почитали и молились за упокой древнего князя Владимира Мстиславовича, покровителя и защитника города.

Он ли помог Марфе или само полковое начальство было не лишено разума, но ратниковы жены, числом в несколько десятков, размещались при полку в отдельной казарме, при этом малые дети были взяты на полное полковое довольствие.

Бабам жить коммуной и сообща растить детей было несравненно легче, и благодарные мамани, а особенно бездетные женки, с лихвой отработывали заботу военного начальства на разных полковых послушаниях.

Отца своего Иван помнил смутно: тот большей частью пропадавал в походах, где и сгинул однажды не за понюх табака. Матери с десятилетним отроком разрешили остаться в казарме, полагая, очевидно, что из сына полка со временем получится добрый воин. Но судьба мальчишки определилась не в полковой канцелярии, а в семье ржевского дьяка.

Однажды, познакомившись с Марфой в Успенском соборе (в том самом, где покоятся останки князя Владимира Мстиславовича), дьячиха предложила Марфе отдать серьёзного несуетливого мальчика ей в учебу – очень он ей приглянулся. Иван от такого предложения тут же засветился радостью, и мать не стала возражать. Через год мальчишка обучился в семье дьяка грамоте, умел читать, писать, считать, и к тому же у него оказался очень красивый почерк. Это, можно сказать, и определило дальнейшую судьбу Ивана: он стал церковником.

Женился Иван, когда ему было уже около тридцати. Жена его, Евдокия Григорьевна, – в девичестве племянница настоятеля церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Соколово, – очень напоминала Ивану дьячиху Марфу в Ржеве.

А ведь Иван мог умереть и холостяком, когда летом 1795 во время эпидемии чумы (эпидемии в те времена случались почти каждый год) некому было в церкви отпевать и хоронить мертвых, кроме него. Родные, боясь черной заразы, не всегда приходили хоронить, а он всех несчастных в землю уложил и молитвою проводил в мир иной. В чьей благодарной памяти остался подвиг его скромного подвижничества? Что будет ему наградой за верность священным скрижалям, бессмертным библейским заветам? Только наша память.

Прожил Иван Васильев со своей верной Евдокией долгую праведную жизнь. Тридцать пять лет опекал он приход куркинской церкви, вплоть до самого 1820 года. К приходу в куркинскую церковь нового настоятеля в 1810 году было у дьяка Ивана трое детей: Наталия девяти годов, сын Михаил на два года младше, и трехлетняя Мария.

Спустя двести с лишним лет полного забвения мы, православные потомки, давайте хоть иногда вспоминать несуетным добрым словом в молитвах, рассказах, или вот в романе, о жизни наших предков, одним из которых был высокий духом дьяк куркинской церкви Владимирской иконы Божией Матери Иван Васильев.

Нового молодого, тридцатипятилетнего батюшку Александра прихожане приняли сразу – за неподдельное радение в служении Богу. Его бархатный баритон ежедневно звучал под сводами церкви. Во время проповедей настоятель завораживал своих слушателей ораторским искусством. Его спокойные серые глаза смотрели на всех внимательно и участливо. Темная волнистая шевелюра падала с крупной головы вниз, соединяясь с окладистой, мелкими кольцами, бородой.

Прошел год, как он сменил мудрого и добросердечного Георгия Иванова, унаследовав всю накопленную прихожанами любовь к своему духовному пастырю. Более того, количество прихожан мужеского пола, приходящих на причастие и исповедь, заметно увеличилось.

Матушке Анне Михайловне только-только минуло двадцать четыре года. Даже церковные одеяния не могли скрыть её целомудренной привлекательности. Весь год она была объектом пристального внимания и пересудов досужих деревенских кумушек, но и они ни в чем, кроме вызыва-

ющей молодости, не могли её упрекнуть.

Молодая матушка, стоя в толпе прихожан, или в хоре на клиросе, постоянно опускала глаза долу, но и одного случайного взгляда было достаточно, чтобы заметить счастливый блеск её очей. Правильные черты лица, высокий открытый лоб, благородная бледность, длинная русая коса притягивали к ней взоры со всех сторон, и, надо признать, не всегда доброжела-

тельные. Ходила Анна Михайловна мягкой, бесшумной походкой, излучая помимо собственной воли достоинство и превосходство своего положения. К счастью, она была умна и проницательна, чтобы этого не подчеркивать.

Детей у батюшки с матушкой пока не предвиделось. Превращаться в малоподвижную клушу в затрапезных одеяниях, оплывшую от бесконечных беременностей, матушка Анна совсем не спешила – век впереди длинный, успеется.

В просторном доме настоятеля жила с ними свояченица Марфа Михайловна, скромная девица тринадцати лет, безотказная помощница во всех домашних делах, готовая вслед за старшей сестрой посвятить себя духовному служению. Именно она предложила своей сестре, матушке Анне, в день прилета жаворонков печь для прихожан вкусных птичек и в некоторые вкладывать по серебряному гривеннику.

Этот обычай долго жил в церкви Владимирской иконы Божией Матери, даже когда не стало ни батюшки Александра, ни его матушки, ни послушницы Марфы Михайловны.

* * *

Вскоре после прихода в церковь нового батюшки случилось странное небесное предзнаменование, вот только в чем его смысл, никто толком не знал до поры до времени.

В середине августа 1811 года церковь отмечала большой праздник Успения Пресвятой Богородицы. Едва стал заканчиваться день, как народ со всей округи потянулся в храм к всенощной. Нищие завсегдатаи паперти, бормоча молитвы и заняв свои позиции, неустанно благодарили прихожан крестным знаменем и поясными поклонами за подаяния. Небо было ещё светлым, густой аромат истекал от спелых садов; купол церкви золотился в закатных лучах солнца; осторожно перекликались припозднившиеся птицы.

Служба началась. Прихожане заполнили церковь, стояли даже в приделе и лишь обитатели паперти никуда не спешили. Они, наконец, распрямили спины и, незаметно двигая указательным пальцем в латунных кружках, определяли на ощупь выпавший им сегодня доход. Тихой беседой скрашивали промысловики часы простоя.

О чем говорили между собой возле стен храма церковные попрошайки? О Боге, всенощной службе, святых чудесах, исцелении духовных недугов? Нет, об этом речь не заходила никогда. Они говорили о подаяниях, о том, сколько собрали на прошлой неделе, сколько могут собрать сегодня, с укоризной вспоминая тех, кто никогда не подаёт копеечку или хотя бы полушку. Себя они считали людьми божьими и тех, кто проходил мимо без подаяния, жалели, яко заблудших овец.

Быстро темнело. Луна припозднилась и на лазурном небосводе одна за другой радостно вспыхивали звездочки. Вдруг на паперти сделалось оживление: сжимая в руках кружки, «божьи люди» смотрели на небо и что-то тревожно втолковывали друг другу. Потом, как по команде, начали истово креститься и гуськом потянулись к храму. Зайти, потревожить людей во время службы они не рискнули и стали терпеливо дожидаться конца всенощной.

Наконец толпа прихожан в церкви зашевелилась, развернулась и начала выходить на крыльцо. Возбужденная троица нищих стала наперебой тыкать пальцем в небо и голосить на все лады:

- Беда, беда идет! Скоро наступит великий мор!
- Смотрите, волосатая звезда к нам летит! Горе нам, люди добрые!
- Антихрист за грехи наши погубить нас хочет!

Люди, выйдя из церкви на улицу, растеряно и тревожно глядели на небо. Яркую звездочку, висящую над Москвой, можно было бы и не заметить, если бы не хорошо различимый хвост за ней. Он изгибался странной дугой, и это делало звезду похожей на хищного крадущегося зверя, грозного и опасного небесного посланника. Люди, глядя на недобрую звезду,

мрачнели, тяжело вздыхали и размахисто крестились. Кто-то сбегал за батюшкой. Все ждали его обнадеживающего спасительного слова.

Отец Александр, увидев комету, помолчал, обводя взглядом паству, скорбно вздохнул и негромко произнёс:

– Прогневался Бог на русский народ, идет к нам великое испытание. Всем нам надо покаяться в своих грехах, молиться ещё усерднее, да не оставит нас Господь без своей милости...

Следующим вечером народ снова собрался у церкви. Все смотрели туда, где вчера предстала взорам хвостатая звезда. Было облачно, временами моросило, но люди не уходили. Голос в толпе надрывно рассказывал, что накануне Куликовской битвы над Россией тоже пролетала яркая комета с длинным – в полнеба – хвостом. Седой старик слезящимися, невидящими глазами пялился в небо и поддакивал рассказчику:

– Я и говорю, война будет! Господь нам верный знак посылает.

Кто-то случайно негромко ударил в нижний колокол. В этот миг серая пелена над головами растворилась, в образовавшемся разрыве облаков появилась небесная гостья. Хвост её стал длиннее и ярче, но... изгибался уже в другую сторону. Всем казалось, что это дракон летит к земле, и в гневе бьёт огненным хвостом вокруг себя.

Как по сигналу народ в толпе начал креститься и шептать молитвы. Несколько молодых женщин, предчувствуя сердцем беду, беззвучно плакали, промокая глаза головными платками. Тяжелые облака сомкнулись, и комета исчезла из виду. Люди долго ещё стояли в молчании, глядя в тревожное, ставшее в одночасье враждебным, небо...

С того дня до поздней осени, пока свинцовые серые облака наглухо не закрыли небо, каждый вечер на улицу выходили люди. Комета становилась всё ярче, она давно уже походила не на звезду, а на раскаленный шар; её искрящийся хвост почти касался земли...

Однажды, когда судный день казался близким и неотвратимым, небесная посланница неожиданно исчезла...

* * *

Альберт Карлович Гохман считал себя католиком и в православную церковь не ходил. Впрочем, в католическую тоже не ходил, даже если по случаю оказывался в местах, где такая была. Рациональный во всем, он считал бессмысленным искать спасение души в редких, нерегулярных молитвах, покаяниях и исповедях. Светлейший князь Меншиков об этом был осведомлен, но на такие обстоятельства внимания не обращал: московскую контору Гохман своими моральными качествами вполне устраивал.

За пять-шесть лет работы управляющим Альберт Карлович приобрел привычку, которой у него никогда раньше не было: подобострастно улыбаться, разговаривая с членами княжеской фамилии или чиновниками московской конторы Меншикова.

Совершенно разными людьми были бурмистр Фрол Евдокимов по кличке Жила, отставной секунд-майор Хорьков и флотский офицер Гохман, а улыбались, по-собачьи преданно глядя в лицо начальству, все одинаково. Хороший управляющий не тот, кто знает свое дело, а тот, кто знает, как угодить господину. Собака, виляя хвостом, выражает не любовь к хозяину, а свою преданность, – а это совсем не одно и то же.

Стремясь увеличить господские доходы, а значит и свои тоже, Альберт Карлович постепенно расширил барскую запашку на четверть, обрезав общинные выпасы до самых огородов. Кривыми путями крестьянская жалоба дошла до княжеской светлости. Во время очередного приезда Гохмана в Черемушки, управляющий Главной конторы Николай Севостьянович Горленков передал сходненскому наместнику приглашение отобедать у Сергея Александровича. Во время непринуждённой трапезы князь снизошел до благодушного вразумления своего ретивого приказчика:

– Жалуются на тебя мужики, Альберт Карлович, челобитную вот прислали. Говорят, последнее отбираешь?

– Мужики всегда жалуются, ваша светлость. Чем лучше живут, тем больше жалуются. Если я в чем-то и виноват, то лишь в том, что воли им много дал, наказываю редко. Исправлюсь, ваша светлость! С жалобщиками разберусь!

– Разберись, голубчик, разберись! Но имей ввиду, что с осени подушные налоги увеличатся вдвое, а то и втрое. Что с мужиков не соберем, придется платить из собственного сундука. В этом году казна отсрочки не даст.

Гохман ошарашенно смотрел на своего господина. Разве возможно сразу такое увеличение налогов?

– А что случилось, ваша светлость? – спросил он осевшим голосом.

– Война, голубчик, на пороге стоит. Видно, скоро армия дополнительно ратников и ополченцев собирать будет. Не дай Бог сейчас ещё мужицкого бунта. Ты уж там у себя разберись. Пойми, что справных крестьян иметь в хозяйстве всегда разумнее, нежели нищих.

Указ о повышении налогов не заставил себя ждать. Невнятные слухи о войне мужиков не убеждали, они волновались и требовали схода. Гохман благоразумно доводить дело до схода не стал и объявил господскую милость: все прежние выпасы к весне 1812 года будут возвращены в распоряжение общины. Более того, вся луговая долина вдоль Сходни и Машкинского ручья будет отдана сельскому миру под покосы с условием передачи половины сена на господские нужды. Волнение, не успев набрать опасной силы, стало утихать.

Но самый неожиданный сюрприз на святочные дни получили крестьянские дети: в школе для них устроили рождественскую елку. Приглашение получили все ребятишки от пяти до десяти лет – таких оказалось почти три десятка.

Праздник готовили сами ученики со своими наставниками: учителем арифметики и грамматики Мятницким Апол-линарием Симеоновичем, дьяком Иваном Васильевым и дьячихой Евдокией Егоровной. Высокую, до самого потолка, зеленую красавицу принес из леса школьный сторож, хромой отставник Косма Яковлев. Несмотря на полных шесть десятков лет, и заросшее рыжей бородой лицо, выглядел он молодецкато, даже озорно.

Было поначалу желание нарядить его на праздник веселым лесовиком, но вскоре от неё благоразумно отказались. Слухи о снежном человеке, обитающем в лесах, серьезно будоражили местные умы, а отставной солдат, честно говоря, был больше похож на лесного разбойника, чем на доброго лесовика. Кем он покажется неискушенным детям – было неясно, поэтому рисковать не стали.

Все елочные украшения ученики делали сами: бумажные гирлянды, раскрашенные фигурки зверей, звездочки, снежинки, цветные фонарики. Свечи на елке крепил бывший солдат и когда их зажигали, не спускал с них глаз. Но главным украшением, конечно же, были московские пряники и конфеты, щедро развешанные на упругих еловых ветках. Их дарили за каждый стишок, прочитанный у смолистой красавицы, за спетую песенку, отгаданную загадку.

Первой загадкой была такая: «Выну ягоду изо рта, оближу и опять положу. Что это?» И тут озорной отставник Косма Яковлев чуть детям праздник не испортил. Достал из-за голенища валенка деревянную ложку, картинно облизал и снова за голенище засунул. Пришлось дьячихе снять с елки пряник и отдать школьному сторожу. Дети чуть не заплакали от обиды. Косма понял, что совершил промашку, и подарил пряник самому маленькому гостю. Все обиды мигом испарились.

Кто не знал ни песенки, ни стишка, должен был изобразить зайца, лису, или волка, бегая вокруг елки. Умопомрачительный смех детей и взрослых был слышен даже во дворе школы. Дьячиха Евдокия Егоровна каждый раз торжественно снимала приз с колючей зеленой лапы и отдавала счастливому малышу. И пока на елке висели вкусные угощения,

от желающих выступить не было отбоя.

Пора было дать возможность ребятам отдышаться и успокоиться. Аполлинарий Симеонович встал в центре комнаты и призывно взмахнул руками. Его тут же окружили дети. Учитель и на рождественском празднике оставался учителем.

– Итак, дети, кто мне скажет, почему кошки так любят умываться?

Простой вопрос застал врасплох не только детей, но и взрослых, которые были на этом празднике. Дети начали переглядываться, перешептываться, смеяться. Те, которые постарше и побойчее, бесхитростно отвечали:

– Чтобы чистой быть!

– Кошки, когда поедят, всегда моются.

– Чтобы мы их больше любили...

Учитель ещё немножко послушал разные ответы, а потом сказал такое, что дети запомнили на всю жизнь:

– Всё это, конечно, так, но вы не сказали самого главного: кошка часто моется затем, чтобы мыши не чуяли её запах. Это помогает кошке охотиться, караулить мышей возле их норок.

Дети слушали учителя, открыв рты, а взрослые одобрительно кивали головами: «Ай да учитель! мы век прожили, а об этом тоже не ведали».

А учитель Мятницкий уже другую загадку задаёт:

– Почему грачи на зиму улетают в теплые края, а вороны не улетают? Они ведь между собой близкие родственники.

Дети задумались – и вправду, почему? И снова никто не смог правильно ответить. Объяснения Аполлинария Симеоновича с интересом слушали и дети, и родители:

– Вороны птицы всеядные, они и в помоях не брезгают порыться, и дохлую мышь на кусочки рвут. Другое дело грачи. Они рядом с воронами словно господ – им свежих земляных червячков да летающих насекомых подавай, а зимой какие червячки? Вот они и улетают в теплые края...

Эх, как жаль, что всё хорошее быстро заканчивается. Вот и Косма Яковлев свечки на елке начал тушить...

В конце праздника все дети получили бумажные пакеты с господским подарком: те же сладости, что и на елке, но в большом количестве.

Была в поместье Меншикова на Сходне ещё одна ёлка. Её устроил в своем доме управляющий Гохман.

К Альберту Карловичу на Рождество и Святки прикатила жизнерадостная супруга с подросшими и повзрослевшими детьми: Саше было уже девять лет, а Лизоньке – семь. Обрусевшая бонна, словно заботливая курица, постоянно квохтала рядом с ними.

На эту елку пригласили детей из Юрово, Машкино и Филино от десяти до тринадцати лет. Дом управляющего (его испокон веку звали господским) впервые принимал столько гостей. Обычно никто из крестьян, и уж тем более их дети, сюда не допускались – в этом не было нужды.

Вопреки ожиданиям хозяев гостей пришло менее дюжины, едва ли половина приглашенных – видимо, оробели, а может, не было у детей подходящей одежды. Те, которые пришли, скинув ветхие тулупчики в угол, смущенно и боязливо жались друг к другу в прихожей, не решаясь переступить порог большой светлой залы. Уговоры взрослых пройти к елке не помогали. Дети исподлобья смотрели друг на друга, ожидая, кто же первый осмелится шагнуть внутрь сверкающего огнями дворца.

К деревенским ребятам вышли барчуки Саша и Лиза. Гости при виде их совершенно онемели и обездвижили. Перед сопливыми, плохо одетыми деревенскими детьми топтались

два неземных белоснежных крылатых существа. Боже, кто это? Откуда они? Неужели ангелы небесные в самом деле существуют и прилетают на землю?

Рядом с этими белыми птицами деревенским девочкам в домотканых серых платяницах на вырост хотелось закрыть глаза и заплакать от нереальности происходящего. В гостиной звучали голоса. Может быть там, в мерцающей глубине комнат, сам Михаил-архангел ждет их? Саша и Лиза тянули своими белыми ручками гостей в сторону залы, но не было такой силы, чтобы сдвинуть сейчас с места потрясенных, оцепеневших детей.

В прихожую вынесли сладости и «ангелы» начали угощать ребят. Мимо пронесли пузатый, пышущий жаром самовар (после отъезда Богуславского его купили на ярмарке за бешеные деньги), повариха весело скомандовала:

– Быстро все за мной пить чай!

Это была понятная всем фраза, и дети гуськом потянулись за краснощекой теткой в обеденный зал и неловко, бочком уселись за стол.

Боже, как красиво кругом, какие чистые белые потолки, картины с широкими золотыми рамами, золотые ручки на дверях, подсвечники, зеркала – всё казалось вокруг золотым, солнечным, сверкающим. На столе стояли чашки, тарелки, каких они ни разу в жизни не видели. И сами господа такие нарядные, красивые, все улыбаются...

Так вот какой рай, о котором приходилось много раз слышать, но впервые в жизни увидеть! Значит, он всё-таки существует, и не только на небе, но и на земле?!

После чая с маленькими изящными пирожками оцепенение стало проходить, и детские взгляды осторожно побежали по пространству комнаты, задерживаясь на отдельных предметах. Никогда в жизни они не видели ничего подобного! Они даже представить себе не могли, что рядом с их деревней есть настоящий рай. И посреди этой сказочной фантазмагии стояла высокая пушистая ёлка с зажженными разноцветными свечами, затейливыми гирляндами, серебряными звездами, хрустальными шишками и летящими в воздухе ангелами, похожими на стрекоз...

Взрослые и дети – все вместе – начали водить вокруг елки весёлый хоровод. Деревенские незаметно (как им казалось), трогали пальчиками белые крылышки у Саши и Лизы. Так хотелось хотя бы частицу этого волшебства унести с собой! Бонна Габби была чрезвычайно довольна: костюмы ангелов были её придумкой...

Чем хороши праздники? В отличие от будней у них есть начало и конец. Свечи на елке тихо догорали, их осторожно начали гасить, детям вручили коробочки с сахарными фигурками – они и стали той самой частицей волшебства, которую хотелось унести с праздника.

Взрослые помогли детям одеть свои тулупчики, Саша и Лиза стояли тут же в прихожей, провожая гостей. Наконец все вышли на улицу и ребят посадили в большие розвальни, устланные свежим сеном. Щуплый вертлявый возчик в длинном тулупе с гиканьем и прибаутками погнал лошадь по хрустящему снегу. Над холмистой равниной быстро стужались сумерки, показались первые искорки звезд. Дети в санях молчали. Всё происшедшее с ними сегодня продолжало казаться им нереальным, и только рождественское угощение в бумажных коробочках, которые они бережно держали в руках, убеждали ребят в том, что всё-таки это был не сон. Потрясение от белокрылых ангелов сохранилось у многих на всю жизнь. Они вспоминали об этих ангелах и рождественской елке у барина даже на старости лет.

Пересуды о Рождественских праздниках и господской щедрости не утихали в избах до самой Масленицы. Хвостатая звезда давно исчезла с небосвода, слухи о войне сначала запылило белым снегом, потом размыло тальными водами, и, казалось, окончательно развеяло теплыми весенними ветрами. О повышении оброка и прочих податей народ горевал недолго: сказали же – всего на год!

Эх-ма! Бог даст, не пропадем!

* * *

Два крестьянских селения, расположенных рядом – Куркино и Юрово, не то чтобы отличались друг от друга, а были двумя разными мирами. Первое зачастую забывало о своей крепостной неволе, мнило себя свободным и, решая свои проблемы, надеялось только на Бога и на себя. В случае неурожая, пожара, засухи, болезней рассчитывать на барскую милость куркинцам не приходилось – не было у них барина. Мирской сход у них действительно был органом власти. И хотя власть эту олицетворял староста, но сельская «голова» – не помещик и даже не управляющий: его сход как избрать, так и сбросить мог.

Для юровских (и прочих помещичьих деревень) слова «свобода», «воля», «право» были невозможными в обиходе, даже опасными: в них таились непокорность и бунтарство. Такие слова ни при каких обстоятельствах нельзя было бросить в лицо даже помощнику управляющего – приказчику из своих же, который верхом на лошади с кнутом в руках целый день следил за исполнением господских распоряжений. Если кто и бросил бы неосторожно такие слова, то расправа настигла бы бунтаря незамедлительно.

Деревенский сход, как орган самоуправления, в помещичьих деревнях существовал лишь формально. Если мужики, когда и собирались толпой на высоком угоре Машкинского ручья, то лишь затем, чтобы узнать об очередных барских требованиях и нововведениях.

Церковь, как и кладбище, были у всех крестьян общими, и последнее пристанище уравнивало их, но никоим образом не равняло с господами. В пространстве церковной ограды хоронили только дворян, духовных служителей церкви, купцов, мещан, свободных дворовых мастеровых людей и ратников. Мужиков, баб и всех домочадцев крепостного сословия – только на общем кладбище, главным украшением которого были летом зеленые кроны вязов и лип, а осенью цветной орнамент из опавших листьев.

Напротив, главного входа в церковь на могилах стояли мраморные кресты, лежали плиты с высеченными в камне надписями из Слова Божия, особо важные захоронения были отмечены массивными памятниками с нишами для лампадок. Между могилами – дорожки, посыпанные песком. За оградой слева от главных ворот находился зеленый лужок, где летом на тесаных бревнах отдыхал народ, дожидаясь службы.

После смерти жены весной 1812 года Петр Терентьев, староста села Куркино, пришел к настоятелю церкви с личной просьбой:

– Батюшка Александр! Хочу просить вашего дозволения предать земле рабу Божью Дарью в пределах церкви Владимирской иконы Божией Матери.

Батюшка изумленно воззрился на Петра:

– Петр Терентьевич, тебе ли не знать православных уложений, кои касаются не токмо жизни, но и смерти.

– Батюшка! Знаю я, о чем вы говорите, но у нашего семейства тоже немалые заслуги перед обществом, уже вторым поколением, считай, служим мирскому делу и государству.

Александр Яковлев потупил взор, неловко ему смотреть на старосту села, которого гордыня ввела в соблазн. Совсем недавно он исполнил его суеверную прихоть, когда растворил Царские врата во время тяжелых родов Дарьи. Но там он понимал, в каком состоянии находился человек, и что не сам Петр придумал про врата в алтаре, а беспомощная повитуха подвигла его на глупость. Но сейчас староста пришел просить о том, что выходило за рамки не только церковных норм, но и государственной табели.

«Слаб человек... Получит немного власти и уже хочет иметь больше других, даже если оно канонами не предусмотрено, – грустно размышлял батюшка Александр. – Не могу я преступить закон. Отказать придется, невзирая на его обиды».

Но начав говорить, сам не понимая почему, свернул на зыбкую почву компромисса:

– Петр Терентьевич, не в моей власти принять такое решение. Вопрос этот не столько церковный, сколько светский. Обратись к управляющему Альберту Карловичу, как скажет, так и решим.

Лукавил батюшка Александр. Уж если он не решил этого вопроса, то Гохман к месту захоронения крестьянки чужого села вообще отношения не имел. В одном только не сомневался настоятель прихода – в отказе Гохмана.

Альберт Карлович был педантом не только в финансовых делах. Отступить от узаконенного уложения мирской жизни (в данном случае смерти) было для него непозволительной роскошью. Выслушав просьбу старосты, он сухо сквозь зубы, объяснил, что никто не вправе, кроме Государственного совета и самодержца российского, изменять общепринятые законы.

Действительно, любое общество неизбежно лишь тогда, когда несокрушимы и неприкосновенны его устои. Даже самые незначительные реформы таят в себе угрозу ослабления, а то и крушения государственной системы.

Похоронили Дарью там, где было положено.

Но управляющий Гохман отказал старосте не только потому, что был убежденным поборником российских законов. Альберт Карлович, как ни странно, втайне завидовал Петру, и потому не мог преодолеть в себе неприязни к этому мужику, который никому подобострастно не улыбался, был независим и даже уважаем большей частью своей общины.

У Альберта Карловича не было друзей в сходненской вотчине – там просто не с кем было дружить. Не было у него приятелей и среди дворян соседних поместий. Дивовы, например, никогда не приглашали отставного офицера на свои балы и празднества. Для чиновников Главной конторы Гохман был добросовестным исполнителем и не более того.

Бывшие флотские сослуживцы Альберта Карловича со временем росли в чинах и должностях, постепенно отдаляясь от капитан-лейтенанта в отставке. Гохман всё чаще пытался вспомнить причину, по которой ушел со службы. Ему хотелось понять, что же соблазнило его стать управляющим именитого помещика? Никаких серьезных резонов он припомнить не мог, и глухое раздражение стало сопровождать его постоянно, как запущенная подагра.

По тем же российским положениям управляющий был в управляемой им вотчине безземельным. Лишившись вдруг нынешнего места службы, перед Гохманом неизбежно встал бы вопрос, чем и как жить дальше? Без блестящих рекомендаций прежнего барина найти новое достойное место почти невозможно, разве что вернуться на действительную военную службу. От этих мыслей ему становилось тошно.

Менее щепетильные управляющие легко решали эту проблему, сколотив за несколько лет на доходной должности солидное состояние. Гохман Альберт Карлович на это был не способен, закваска у него была неподходящая – ему отец ещё в отрочестве вбил в голову одну из немецких заповедей: *честнее счет – долгие дружба (служба)*. Только не объяснил, что между русским баринком и наемным управляющим никакой дружбы не бывает, будь ты честнее самого апостола.

К лету 1812 года Гохману стало ясно, что Россия стоит на пороге войны с Наполеоном. Налоги, которые в 1811 году вводили как временные, без широкой огласки переделали в постоянные. Светлейший князь Сергей Александрович ранней весной 1812 года срочно вернулся из-за границы, проехал прямо в Санкт-Петербург, где крепко застрял, и приезжать в Москву, в свои Черемушки-Знаменские, как обычно с началом лета, в ближайшее время не собирался.

* * *

При дворе Александра I ясно понимали, что начнись война с Наполеоном, действующей русской армии для отражения нашествия дерзкого корсиканца будет недостаточно, то есть, без дополнительной мобилизации ратников и ополченцев не обойтись. Основную массу ниж-

них чинов всегда составляли крепостные крестьяне, причем не государственные (царские), а помещичьи.

Ратник или ополченец должен явиться в строй при оружии и полностью экипированный – у государевой казны на эти цели денег всегда почему-то не хватало, и она, не колеблясь, перекладывала свои заботы на помещиков.

Государевых крестьян данное обстоятельство вполне устраивало, однако у большинства помещиков по этому поводу назревало серьезное недовольство: среди мужиков быстро росло число дезертиров и членовредителей. Получить накануне войны, и тем более с её началом, крестьянский бунт было бы слишком неосмотрительным, поэтому военное ведомство решило внеочередной призыв ратников начать именно с экономических крестьян.

Итак, Петр Терентьев, вернувшись после волостного совещания в Сабуровке, имел на руках распоряжение отправить из села Куркина на сборный пункт трех ратников.

На первый же выходной день (он совпал с праздником Вознесения Господня) объявили общий сход. Узнав о причине схода, село заволновалось: такого неурочного набора рекрутов не помнил никто. Бросать собственное хозяйство посреди лета до окончания сенокоса и уборочной страды охотников не было. Да и чего ради, скажите на милость? Война что ли?! Где, с кем? Когда началась?

Староста ничего толком объяснить не мог и это ещё больше подогревало страсти. Но не выполнить распоряжение вышестоящих властей тоже нельзя; у русского мужика на это духа обычно не хватало: слабые сокрушенно вздыхали – *плетью обуха не перешибёшь* -, а умные осторожно отмалчивались.

На сход собрались всем миром – от мала до велика. После долгих криков и пересудов, староста, наконец, приступил к оглашению кандидатов на обривание лбов:

– Василий Егоров, – Петр мог бы назвать Ваську деревенским прозвищем Кила, да не пристало старосте прилюдно неприличными словами бросаться, – сорок пять годов, малых детей нет, здоровьем Бог не обидел.

– Енто какой такой Василий Егоров? – из толпы раздался насмешливый голос. – Васька-Кила что ли? Так ты, староста, не путай народ, а так и говори – Кила.

Васька по случаю великого двенадцатого праздника с утра был под хмельком. После оглашения его имени он дернулся, крутанулся на месте, убеждаясь по лицам окружающих мужиков, что не ослышался. Что-то грубо изменилось в его лице и, ухмыляясь, он зажал большим пальцем одну ноздрю, выдул через другую длинную соплю, потом зажав рукой чистую ноздрю, выгнал из другой ещё один сгусток слизи. Вскинув голову и глядя на Петра бешеными глазами, он согнул руку в локте и глумливо изобразил двумя руками совершенно неприличный жест:

– А вот это ты видел?! Не имеешь права! Старый я уже новобранцем ходить, ищи других дураков.

Ваську-Килу в Куркине не любили: хозяин он был никудышный, к тому же выпивоха и лодырь. Зарабатывал деньгу на извозе, при этом всегда, как последний барыга, торговался за каждый грош, норовя обязательно объегорить клиента. Но не любили его большей частью за грязные сплетни и наветы, которые он распространял с каким-то нездоровым наслаждением. Может, обливая других грязью, этот падший человек казался себе чище и лучше? Или, считая весь мир вокруг себя порочным, не жалел сил, чтобы обличать эти пороки? Как бы там ни было, поддержки или сочувствия у односельчан на сходе он не нашел.

Община, если хотела, могла за немалые, конечно, деньги откупиться и найти рекрута на стороне. Например, хорошего кузнеца община никогда в рекруты не отдавала – себе дороже. Или мирского писаря. Васька-Кила ценности для села не представлял никакой, и община единогласно проголосовала за предложение старосты.

Решение общины обжалованию не подлежало. При физическом сопротивлении кандидата в рекруты доставляли на сборный пункт без его согласия, крепко связав руки и сбрав ему волосы на половине головы. Причем особо ретивым волосы брили не по направлению от уха до уха, а левую или правую половину головы, что сразу выдавало новобранца, как возможного кандидата в арестантскую роту.

Васька-Кила затих, затравленно, исподлобья глядя маленькими черными, лихорадочно блестящими глазками на окружавших его людей. Страх перед рекрутчиной морозил ему кровь, он едва держался на ногах. О чем ещё говорил сход, он уже не слышал...

Староста назвал ещё двоих кандидатов в новобранцы – Артемия Петрова, 29 лет, и Терентия Семенова, 26 лет, оба холостые. По ним тоже никто не возражал – оба шли согласно ранее утвержденной очередности.

Вечером того же дня Васка-Кила сидел в одиночестве на своей половине избы, тонко, по-бабьи скулил, и мотая головой,пил горькую. Пожаловаться на мерзавца старосту, который, не убоившись Бога, записал его в ратники, было некому. Вспомнил ли Кила о грязных наветах, которые распускал по селу про старосту? Вряд ли. Народец, вроде Килы, не отличается злопамятством. Зло, причиненное другим, за зло не считали.

Мать, старая повитуха, давно отступилась от своего выродка, который после пары стаканов мутной браги начинал размахивать кулаками и выяснять отношения с домочадцами. К сыну Афанасию, крепкому молодому мужику, отец боялся заглядывать: тот и трезвого тятю на дух не переносил, а пьяному и орущему мог без разговоров дать по зубам.

«Уу-у-у... что делать? что делать?.. Ни в какой сборный пункт, ясно дело, не пойду... тянуть армейскую лямку?.. Да по мне лучше сдохнуть... А может и правда сдохнуть назло Налиму? ... Ну да, назло... этот мерзавец только рад будет... Вот тебе...» – Васька снова, как давеча на сходе, согнул руку в локте и скабрёзно ухмыляясь, изобразил непристойность.

Скрипя от ненависти зубами, Кила наполнил мутной жидкостью очередной стакан. «Ведь как старого мерина силком уведут на живодерню... уу-у-у... будьте вы все прокляты...» Странное дело, чем больше он пил, тем яснее становилось в голове, тем решительнее вызревало спасительное решение. «Ха-ха-ха... я вам покажу... новобранца из меня делать!»

Кила тяжело встал из-за стола и, пошатываясь, начал собирать всё необходимое для осуществления своего отчаянного плана. Бросил на стол сыромятный ремешок, сорвал с окна старую занавеску, потоптался, оглядываясь вокруг, тяжело соображая, что ещё может пригодиться в роковую минуту. Сгрёб в горсть ремешок, тряпку и вышел из избы.

Черная ночная мгла стерла границу между небом и землей, ни одной звездочки на небосводе, ни одного огонька вокруг, чтобы хоть слабым лучиком посулить надежду заблудшей душе. Чернота заполнила мир, проникла в сердце, затуманила голову. Бог отвернулся от Васки Егорова.

Где-то со стороны Юрово или Машкино чуть слышно доносился ленивый собачий брёл. Холодный сырой воздух бодрил, придавал уверенности пьяному мужику... «Огня надо... как же я в темноте...».

Василий вернулся в избу, нашарил в запечье огрызок сальной свечи, зажег от лампы и снова вышел во двор. Глухое сомнение начало подтачивать силы и уверенность, но, вспомнив, что его ожидает завтра, потащился в дровяник. «Ничего, я только два пальца...»

Пристроив на поленнице свечку и бросив рядом серую тряпку, Кила перетянул сыромятным ремешком запястье правой руки, зубами затянул узел. Кисть стала быстро набухать, в глубине мясистой ладони заняла какая-то косточка, торопя хозяина завершить начатое дело. Топор – вот он, держится острым лезвием в тяжелой колоде для колки дров.

Положив на край колоды два пальца, которыми нажимают курок ружья – указательный и средний – Василий левой рукой стиснул топориче, покачал топором в воздухе, как бы прице-

ливаясь к месту удара. «Эх, не соха оброк платит – топор», – вспомнилась любимая присказка. Душный горячий туман ударил в хмельную голову, глаза застило слезой и, хрипло крикнув, Кила резко бросил лезвие топора вниз...

Что его подвело: разыгравшийся хмель, дрожащая рука, или черт подсуропил, но лезвие топора упало не на фаланги приговоренных пальцев, а выше – на самую пясть. Колода мгновенно обагрилась густой кровью; в неверном свете сальной свечи она казалась черной, словно деготь. Четыре пальца с перебитыми косточками и жилами едва держались на тонком слое мышц и задубелой коже ладони. От боли, ужаса и страха перед содеянным, Кила рухнул в обморок...

Спасла его случайность. Выйдя ночью до ветру во двор, Афанасий заметил слабое мерцание света в глубине дровяного сарая. Заглянув туда, он увидел окровавленного отца, с ужасом отпрянул назад, но уже через минуту бежал по черной, плохо различимой дороге в село Соколово – только

там, у помещика Дивова, был хороший лекарь...

Занималась ранняя летняя заря, когда дрожки с лекарем подкатили к избе членовредителя. Васька-Кила лежал на земле, слабо стонал, но был в сознании. Сыромятный ремешок не дал безумцу истечь кровью...

После лечения в земской больнице (часть кисти с четырьмя пальцами пришлось ампутировать), в конце 1812 года решением военного суда Василий Егоров был осужден на поселение в Тобольск, но с середины этапа его возвратили обратно ввиду душевной болезни и неспособности обходиться без посторонней помощи. Возвращение в родное село стало для инвалида более тяжким наказанием, чем ссылка в Сибирь. Жизнь его была кончена и после 1813 года имя Василия Егорова исчезло из исповедных ведомостей церкви Владимирской иконы Божией Матери. Счеты с жизнью он свел в том же сарае, привязав к стропиле петлю.

* * *

Но вернемся в июнь 1812 года. После дикой ночной выходки Васьки-Килы прошла неделя. Улики умышленного членовредительства были настолько явными, что следствие по данному факту началось и закончилось в один день. Волостной следователь записал в протокол решение сельского схода о ратниках, опросил для соблюдения формальностей свидетелей, осмотрел сарай со следами преступного замысла и укатил в Рождествено, где в больнице находился подследственный крестьянин Егоров.

Село Куркино и близлежащие деревни жили своей привычной жизнью. На возделанных десятинах зеленели молочные злаки, на лугах пестрели цветные сарафаны баб и сермяжные рубахи мужиков – шел сенокос.

Скошенную траву молодые девки с песнями и прибаутками под палящими лучами солнца целый день разбивали рукоятями граблей, чтобы к вечеру почти сухое сено сгрести в валы, а затем в копны. На другой день, когда роса уже поднялась, копны разваливали широкими кругами, давая сену окончательно просохнуть. Всё – теперь его можно метать в стога.

Запахи трав, вечернее купание в Сходне, теплые ночи – всё это животворяще, любвеобильно действовало на молодые души. Девки на сенокос одевались как на праздник – где ещё можно покрасоваться перед женихами? На коротком дневном отдыхе заводили общую песню, играли с парнями в переглядки, доставали нехитрую снедь и делали общий стол. Нет лучшего времени, чем пора сенокоса!

Алексей Афанасьев, безнадежно влюбленный в дочь старосты Куркино, после смерти её матери не смел к ней даже приблизиться, – Ирина была печальна, замкнута, молчалива, всегда занята неотложными делами. Но во время уборки сена он как-то на глазах у всех подошел к ней и молча стал помогать сгребать сено в копны. Ирина подняла на Алексея глаза, чуть

заметно улыбнулась и снова ушла в работу. Они вместе прошли прокос до конца, дальше оставаться рядом с девушкой, чтобы не бросить тень на её доброе имя было непозволительно. Всё, что хотел, парень девушке и всему свету уже сказал. Нет, не всё. В последний миг, уходя, он неожиданно для себя отчаянно выдавил:

– Я к тебе сватов пришлю.

Ирина вспыхнула и быстро пошла прочь. Она давно догадывалась о Лешкиных чувствах к ней, но о замужестве даже не думала. Да и не ей это решать, а тятеньке...

Смушение Ирины от глаз кумушек не укрылось. На общих работах нет отрадней темы для зубоскальства, чем женихи и невесты. Шуточки и разные веселые подначки в адрес молодой девушки в этот день не иссякали.

Докатились развеселые пересуды и до Ваньки Архипова, балагура и частушечника (впрочем, кто на селе не сочинял частушки?) Дерзкая выходка юровского *«господского холопа»* была наглым вызовом ему. В Куркине все знали, что Ирина – его, Ваньки, зазноба.

То, что сама Ирина так не считала – это не в счет. Никто из куркинских парней даже не помышлял стать соперником Ваньке Архипову: у него семья богатая, крепкая. Отец Ваньки и два отцовых брата – у каждого своя семья – жили в одном большом родовом доме. Сколько этих Архиповых всего

проживало в доме, посчитать никому не удавалось – количество детей постоянно росло, от невесток, племянников, братьев, свояков, крестных в глазах рябило. Но домочадцы никогда не ссорились, друг за дружку стояли стеной, сообща держали на Сходне конный двор.

Разбираться в одиночку с Лешкой Афанасьевым Ванька бы не рискнул, его соперник тоже не из робкого десятка. Ещё неизвестно, кто кому рога обломает, потом позору не обещаться. Другое дело – втроем или вчетвером против одного. Как заманить Лешку в ловушку, его непримиримый соперник придумал быстро:

– Эй, Димка, хочешь на свиристелке поиграть?

Семилетний Димка Васильев – сосед Терентьевых, он даже приходился Ирине родственником, хоть и не очень близким. Подскакал вприпрыжку, протянул руку:

– Давай!

Дудочка была сделана из ивового прута, у неё три дырочки и при желании она могла подражать кукушке или дрозду. Иван погладил свиристелку рукой, притворно вздохнул и предложил:

– Хочешь, насовсем подарю?

Мальчишка недоверчиво посмотрел на дядю Ваню, сглотнул комок в горле и ничего не ответил.

– Только сначала выполни одно маленькое поручение. Сбегай в Юрово, найди Алексея Афанасьева. Это вторая изба с дальнего края, возле Репища. Знаешь?

Димка молча кивнул головой.

– Скажи Алексею, что Ирина будет его сегодня ждать на заходе солнца у родника под церковью. Всё запомнил? Ну-ка, повтори!

Димка без запинки всё повторил, как надо.

– Ну, беги!

– Дудочку дай!

– Когда вернёшься, тогда и получишь.

– Ты потом раздумаешь и не дашь.

Иван посмотрел на мальчишку с уважением – *«вот она, куркинская порода»* – торговаться с малолеткой не стал:

– Держи!

Дядю Лешу Димка нашел без труда, повторил всё слово в слово, что от него требовалось. Напоследок похвастался дудочкой.

Лешка оторопело переваривал сообщение гонца и поэтому, взглянув на свиристелку, почти машинально спросил:

- Неужели сам сделал?
- Не, дядя Ваня подарил.
- Какой дядя Ваня? Иван Архипов?
- Ага!
- Сегодня подарил?
- Ага!
- А где он сейчас?
- Возле церкви меня ждет.
- Ну, давай беги к нему!

Когда солнце красным яблоком покатилося за горизонт, Алексей отправился к роднику. Этот родник знала вся округа, его называли «святым». Вода в нём была необыкновенно вкусная, и если хозяйка была не ленивая, то воду для бражки, чая и даже щей брала только здесь.

Возле родника Алексей увидел Ивана Архипова, тот сидел на бревнышке и крутил в руках ивовый прут. «Очередную свиристелку для несмышленишей делает» – усмехнулся Лешка. Подошел, здороваться не стал. Иван, не оборачиваясь, лихо сплюнул сквозь растянутые губы:

- Ты, чай, не меня тут надеялся увидеть?
- У тебя ума-то не больше, чем у дитя, которое ты подослал.

Иван вспыхнул, вскочил на ноги:

- Ишь ты, мозган! Догадываешься, зачем я тебе свиданку устроил?
- Неужели по-честному один на один говорить будем? Что-то на тебя не похоже.

Алексей Афанасьев одногодок Ваньки Архипова – обоим по девятнадцать.

Лешка – высокий широкоплечий с копной рассыпающихся русых волос. Густые пшеничные брови, глубокие серые глаза, крупный нос, полные губы всегда излучали спокойствие. Но, несмотря на внешнее добродушие, улыбался Лешка не часто. Прямой с прищуром взгляд, выпирающие скулы, прижатые к голове уши, говорили, что этот парень умеет за себя постоять. В отличие от Ваньки Архипова одежка у Лешки, даже по деревенским меркам, была бедноватой: с ранней весны до поздней осени широченные темные штаны, светлая рубаха, перехваченная пояском, на ногах неизменные онучи и лапти. Правда, лапти не простые – двойной вязки, они воду не пропускали. Таким лаптем можно было и щи хлебать. Сапоги в Лешкиной семье мужики надевали только по большим праздникам.

Ванька Архипов лаптей не носил – у его домочадцев, владевших конным двором, такая простота была не в чести. Порывистый и быстрый, он был хорошим наездником, с любой норовистой лошастью справлялся играючи. Чуть выше среднего роста, узкий в талии, темноглазый – что-то в нем было от лихих степняков или золотоордынцев, некогда обильно оставлявших своё семя на равнинной Руси.

Вообще-то Ванька был не из робкого десятка, в любой драке ловкий и увертливый, но глядя на большие ладони Алексея, понимал, что от таких кулаков ему на ногах не устоять. Подобравшись и наклонившись вперед, словно собираясь прыгнуть, половецкий потомок процедил сквозь зубы:

- Я тебя, *теля лапотная*, уже предупреждал – не отстанешь от Ирины, худо тебе будет.
- Давай прямо сейчас решим, кому худо будет.

Алексей шагнул к сопернику, для размаха заводя назад тяжелую руку.

Ванька отскочил от летящего кулака и засвистел, словно тать на большой дороге. В кустарнике на середине косогора была устроена засада, из которой выкатились и зашпешили вниз дружки Ваньки Архипова: Петр Мартынов, Матфей Семенов и Назарий Евдокимов. В руках у каждого был увесистый дрын.

Алексей бросил взгляд наверх и с презрением плюнул в лицо Ивану:
– Навоз ты конский, а не мужик! Как всегда, сгузился один на один.

Ваньке меж тем хватило мгновения, чтобы достать из-за бревна, на котором он только что сидел, припрятанный арапник. Разъяренный Алексей бросился на Ивана... и не успел уклониться от удара плетью со свинчаткой на конце. Подлый соперник глубоко рассек Лешке кожу на голове. С макушки, пробиваясь через густые волосы, по щеке, по шее, заворачиваясь за ворот рубахи, побежала густая липкая кровь.

Однако ничего больше Ванька Архипов сделать не успел, кулак Алексея, словно печать, накрыл ему левый глаз, и в следующее мгновение арапник был уже в руках Лешки. Резко обернувшись, он успел встретить первого, самого скорого на ногу, – Назария Евдокимова – ударом плети. Свинчатка на кожаном плетеном ремешке обвилась полозом вокруг дубины. Резко дернув арапник на себя, Алексей сбил Назария с равновесия, и тот, падая, приложился лицом прямо на тяжелый кулак...

Алексей, идя на встречу, не сомневался, кого он застанет у родника. Не сомневался, что Ванька там будет не один, а с дружками, и не о видах на урожай будет между ними разговор. Между юровскими и куркинскими не вчера черная кошка пробежала, а уж когда два непримиримых жениха за одну невесту бьются, тут можно не сомневаться – сражение будет идти до полной победы, как под Полтавой.

Было бы безрассудным с Лешкиной стороны идти на такую сшибку без подстраховки – когда голову проломают, поздно будет жалеть о своем промахе. В общем, сказал Лешка своим закадычным дружкам Ефиму Евсееву и Моисею Иванову про ловушку, которую ему готовил Ванька Архипов, но попросил их без надобности не вступать в распрю, лишь в крайнем случае вмешаться, если куркинские на Лешку гуртом пойдут.

Ефим и Моисей – друзья, не разлей вода. Сестра Ефима, семнадцатилетняя Праскева, давно вскружила голову Мосе; две семьи уже сговорились, что осенью после завершения страды обвенчают молодых, свадьбу сыграют. Мося Лешку понимал и сочувствовал; он за Лешкину любовь, как за свою собственную, был готов биться, живота не жалея, но... Сколько раз друзья Лешку предупреждали, что тот не по себе сук рубит, зря только душу себе растревляет...

Лешка на коварную встречу пошел верхом – мимо церкви, от неё вниз по косо́й тропке; друзья же – по нижней дороге вдоль Сходни. Оттуда им хорошо было видно, как по угору, сломя голову, побежали заговорщики нечестной расправы над Лехой. Значит, им тоже пора вмешаться – Фима и Мося рванули к роднику...

Петр Мартынов, дружок Ваньки Архипова, подлетая к месту драки, краем глаза видел, как рухнул на землю Назарий, и готов был поднятую дубину обрушить на голову противника. Но в этот миг он поймал взглядом залитое кровью лицо Лешки. Дубина в руках Петра дрогнула: «не дай Бог, убьём, точно на каторгу загремим...».

Бежавший сзади Матфей, огибая замешкавшегося Петра, проскочил мимо места схватки и неожиданно увидел перед собой Фиму и Моисея. Не сбавляя хода, он ринулся с дубиной на них. Юркий Фимка пригнулся и, прыгнув по-лягушачьи, упал в ноги распаленному бегом Матфею. Зарываясь головой в траву, обдирая колени, Матфей скользил тощим животом по склону, пока не затормозил в родниковом ручье. Мося вскочил на него верхом и, вцепившись в лопухи ушей, вдавливал голову врага в журчащую холодную воду.

Петр Мартынов, стоя перед Алексеем, понимал, что расправы не получилось, баталию они позорно проиграли, и единственным утешением был тот факт, что Лешка всё-таки умылся кровью. Бросив дрын на землю, примирительно сказал:

– Ладно, порезвились и будя. Надо мужикам помочь.

Иван Архипов уже стоял на ногах, но плохо соображал, что ему делать дальше. Левый глаз закрылся, не оставив даже узкой щелки; глазница быстро наливалась густым бордовым

цветом. Уцелевший глаз видел плохо, предметы расплывались и даже неяркий закатный свет сильно раздражал. Назарий сидел на земле, руками обнимая сломанную челюсть. Он что-то порывался сказать, но лицо его перекашивало от боли, звуки получались неразборчивыми, и никто ничего не мог понять; вероятно это было и к лучшему. Матфея Семенова, вдоволь нахлебавшегося целительной святой воды, Мося, наконец, отпустил, но дубину в своих цепких руках держал наготове.

Вид окровавленного Алексея приободрил Ваньку Архипова, и он, уже ретируясь, запальчиво заявил:

– Ирина всё равно моя будет, а с тобой я ещё поквитаюсь.

Алексей не смолчал:

– Может тебе прямо сейчас румянец на второй глаз навести? – И, глядя в спины уходящей компании, не столько им, сколько самому себе сказал: – Ирина сама выбор сделает.

* * *

Пятью днями раньше «битвы на реке Сходне», утром 12 июня 1812 года (*все даты по ст. стилю – прим. автора*) Наполеон перешел Неман и бросил на Россию свою огромную армию. Началась большая война, но подмосковные деревни ни сном ни духом о том не ведали. Да и удивительно ли, если сам император Александр I, находясь в Вильно рядом с пограничной рекой Неман, узнал о вторжении чужой армии лишь спустя сутки, к полуночи, отдыхая на балу в свою честь.

Это так официально считается, что война с Наполеоном началась 12 июня. В действительности, уже 11 июня после заката солнца три польских роты вольтижеров из корпуса маршала Даву преодолели на легких лодках тихий сонный Неман и «захватили» плацдарм для наведения понтонной переправы. Конный разъезд лейб-казаков из полка графа Орлова-Денисова, рано утром обнаружив французский десант, в бой вступать не стал, но донесение о вторжении врага немедленно передал по команде выше. Русскому императору депешу о вторжении французов вручили к концу дня на балу во время короткого перерыва между польским полонезом и французским менюэтом.

Даже если бы кто-то и сообщил подмосковным крестьянам о начале войны с французами, никто бы на это известие и внимания не обратил. Эка невидаль! Да Россия каждый год с кем-нибудь воюет! И с французами, и с поляками, и с турками, и со шведами...

Другое дело – сражение между молодыми мужиками из-за старостиной дочки. Вот уж действительно битва была! И кровищи пролито немеряно, и головы как тыквы лопались, и глаза друг дружке повышибали, и зубов недосчитались... Целую неделю жители окрестных деревень эту битву обсуждали. У Ваньки Архипова морда и сейчас краше ордена Андрея Первозванного, у Назария Евдокимова рожа покривела, никак вправить не могут. Черт бы с ней, с рожей, дак ведь мужик жевать не может, кусками пищу глотает. Лешке Афанасьеву, ухажеру, значит, голову пробили. Ничего – до свадьбы заживет, дурную кровь иногда полезно пустить. Хуже всех сейчас дочке старосты – из дома нос не кажет...

Петр Терентьев всё искал удобного случая, чтобы с дочкой о её замужестве поговорить. Но как ни с того ни с сего такой разговор повести? А теперь повод – лучше и не придумать. Ближайшим вечером отец издалека начал нелегкий разговорец:

– Вижу, дочь, как тебе нелегко и хозяйство тянуть, и старикам помогать, и за малыми детьми смотреть. И конца этим хлопотам никогда не будет. А ведь ты молодая, не век же тебе в девках возле отца сидеть. Тебе о своей семье подумать надо.

У Ирины на глазах выступили слезы:

– Тятенька, али я чем не угодила, что ты меня в чужой дом отдать хочешь? Или думаешь, мне со свекровью жить легче станет, чем в своем доме?

Отец тяжело вздохнул:

– Замуж тебе пора, уж семнадцать годков подходит, девичий век не долог. Да и Сергуньке нашему мать нужна, а не просто кормилица. Годы твои молодые мигом пролетят, ты потом невольно свой укор на меня обернёшь.

Лукавил немножко Петр, не только о дочери он думал, но и свою жизнь хотелось ему устроить. Ирина своим женским сердцем это почувствовала:

– Сереженьке мать нужна... Вот ты, о чем... ну да, конечно...

– Ты, Ирина, обо мне плохо не думай. Ты ведь знаешь, как я твою маменьку любил. А бобылём-то век всё равно не прожить... Как я могу привести в дом другую женщину при взрослой дочери? Тебе-то каково будет с ней цельными днями бок о бок толкаться? Ты же каждую минуту её с маменькой сравнивать будешь... Нам вместе под одной крышей тесно станет, так уж лучше тебе с мужем, да со свекровью жить, чем с мачехой... Ещё наши деды говорили: *не та счастлива, которая у отца, а та, которая у мужа*.

Тихие слезы бежали по щекам Ирины. Она так старалась помочь тятеньке с бедой справиться, выходит – не смогла, не по силам ей такая ноша. Дело, оказывается, не только в том, чтобы щи сварить, да скотину обиходить. За последний год Ирина взрослой стала, но не настолько, чтобы задать отцу откровенный вопрос. Петр и сам догадался, что её мучает:

– Ты, небось, думаешь, что я полюбовницу заимел? Нет, доченька, и не будет её никогда, пока тебя замуж не выдам.

Ирина впервые за время разговора улыбнулась:

– Поэтому ты меня замуж и выпроваживаешь?

– Нет, конечно, но рано или поздно нам бы пришлось об этом говорить.

Петр почувствовал, что дочь начала его понимать и перешёл ближе к делу:

– Я тут про твоих ухажеров кое-что слышал.

Ирина вспыхнула и спрятала лицо в ладони. Отец усмехнулся:

– Ванька Архипов жених хоть куда, и в своем деле – лошадей хомутать – большой умелец.

В двусмысленной фразе отца Ирина уловила откровенную насмешку, а это значит – сватов от Архиповых он наверняка завернёт не солоно хлебавши. Затаившись, Ирина ждала, что скажет отец про Алешку Афанасьева. А Петр про него как будто забыл, будто это не Лешка бился насмерть за его доченьку...

Не забыл, конечно, Петр про отчаянного парня, но не хотел события опережать. Вот придет Лешка руки просить, тогда и поговорим.

Сваты в дом Петра Терентьева действительно вскоре нагрянули, но не от Афанасьевых, а от Ваньки Архипова. Дело было вечером, солнце уже за горизонт закатилось, в печи последние угольки пеплом подернулись – и на тебе! Прикатили на паре гнедых, на дуге бубенцы с трезвоном болтаются, шум на всю улицу – знай наших. Ввалились во двор невесты, словно в свой собственный. Тимофей Архипов, отец жениха, ещё из сеней загрохотал:

– Принимай хозяин купцов, нынче мы товар покупаем не торгуясь.

Вместе с Тимофеем Архиповым, хозяином конного двора, прибыл ещё один сват – Захарий Архипов, брат и пайщик Тимофея. Не надеясь на мужицкую велеречивость, компанию им составила сватья Марфа Мартыновна, жена Захария, которая едва переступив порог, запела сладким голосом:

– У нас ведь на товар не леж-а-алый есть купец нежена-а-атый! А нельзя ли нам на ваш товар взглянуть?

Петр, вначале опешивший от неожиданных гостей, неожиданно развеселился, кликнул Ирину:

– Выйди дочка, к нам гости пожаловали, накрой-ка стол, чем Бог послал. А вы, гости дорогие, проходите, садитесь.

Гости сегодня прибыли не простые, знающие. Осмотрелись внимательно и сели строго под матицу* – по старым приметам – для удачи. Тут Захарий голос подал:

* *Матица* – главная балка, поддерживающая потолочный настил.

– Так мы, батюшка, не сидеть пришли, а с важным делом: ищем овечку заблудшую, не у вас ли она...

Петр добродушно посмеялся:

– Ну откуда у вас вдруг овечка взялась... она отродясь на вашем дворе не водилась... Может, вы лошадку ищите?

Сваты напряглись, что-то не по правилам отец невесты им ответил. Тимофей зубами скрипнул, стараясь насмешку Петра не заметить. Марфа, которая перед поездкой не сомневалась в успешном исходе дельца, сейчас отчаянно пыталась спасти положение. Сладко улыбаясь, сделала ещё один заход:

– Так мы наемни-то как раз лошадку на овечку поменяли, а она неопытная мимо дома пробежала, да в чужой двор завернула. Вот нам и показалось, не у вас ли она?

А Петра повело, над сватами откровенно насмехается, остановиться не может:

– Какие же вы купцы, если лошадь на овцу меняете? Так и разориться недолго. Али лошади у вас никуда не годные?

Гости удрученно переглянулись – не получается разговор. Если им хотят отказать, то на это свои правила игры есть. А тут что же получается? Над ними откровенно насмехаются...

Петр понял – так дальше нельзя и, сменив тон, вежливо поблагодарил сватов:

– Бог вас спасёт за то, что и нас из людей не выкинули, – и, повернувшись к Тимофею Архипову, душевно добавил:

– Спасибо на любви, сват, а ныне отдать девку никак не можем, не отошла она ещё после смерти матери, да и молода слишком.

Ирина возле печи с лучинами, да с угольями возилась, а тут вся замерла – ни жива, ни мертва, лицо пылает, к гостям не смеет обернуться... А гостям уже всё ясно: откупились хозяйева от сватов разными отговорками, словно от нищих хлебными корками.

Гости медленно встали и потянулись к выходу. Тимофей с досады дверь ногой распахнул, Марфа, выходя последней, не сдержалась, захлопнула дверное полотно громче, чем принято, да ещё прижала её своим мягким местом – назло, чтобы (по старому поверью) девушке в этом доме никогда замуж не выйти.

Тимофей, подходя к паре гнедых, зло приказал Захарию:

– Сними, дурак, бубенцы и засунь их себе в огузье.

Захарий не решался перечить старшему брату, под горячую руку от того можно было и по морде получить. Хотя разве из-за него сватовство не получилось?

Бубенцы сняли, молча уселись в повозку и тронулись со двора. Тимофей, не оборачиваясь, и ни к кому не обращаясь, обронил:

– Когда ещё вперёд ехали, возле избы старой карги Феклы ейная кошка, рыжая шалава, дорогу нам перебежала. Я, старый дурак, подумал – ерунда, обойдется... Ну, ужо попадись мне! Убью шельму!

ОПОЛЧЕНИЕ

Глава 4

В воскресенье 12 июля 1812 года все постоянные дворы и почтовые станции на тракте Москва – Санкт-Петербург взволнованно гудели, словно потревоженные осиные рои. Проезжающий народ, потрясая газетами, сбивался в кучки и долго не расходился, обсуждая наи-

важнейшую государственную новость. Немногословные курьеры и фельдъегери стремительно влетали на станции, меняли без очереди взмыленных лошадей и мчались дальше в направлении обеих столиц. У них неукоснительный закон: «Промедлить – значит потерять честь!». Смотрители почтовых станций, а также хозяева конных дворов, озабоченно вникая в суть свалившегося на их головы события, прикидывали, не пора ли поднять плату за прогон?

Вечером, изрядно помятую руками возбужденных людей газету «Московскія Вѣдомости», привез в Куркино с почтового большака Тимофей Архипов. Несколькими часами ранее курьер из волостной Сабуровки вручил экземпляр «Ведомостей» батюшке Александру Яковлеву – настоятелю церкви Владимирской иконы Божией Матери. Управляющий Гохман Альберт Карлович узнал о царском воззвании к Москве и высочайшем Манифесте ещё до полудня – он получал корреспонденцию, в том числе газеты, с ямской станции села Черная Грязь во время второго завтрака.

К разного рода царским указам и манифестам деревенский народ был глух и равнодушен – они, как правило, не касались их лично. Но воззвание императора Александра к первопрестольной столице и высочайший Манифест к народам России от 6 июля опалили пожаром и общей бедой. До глубокой ночи в Куркине грамотеи бегали от избы к избе с затертой газетой Тимошки Архипова – виданое ли дело, чтобы царь-батюшка воззвал прямо к своему народу. Видно нету у него твердой надёжи на дворян-помещиков, чиновников губернских и прочих, да и на своих дворцовых столичных шаркунов-подхалимов тоже.

Утром народ начал стихийно собираться возле церкви: многие только тут впервые узнали, что Россия уже три недели воюет с жестоким и коварным антихристом *Бунапартом*. Бабы горестно перешептывались: «Вот оно как аукнулось-то небесное знамение... не зря над головами висела хвостатая комета... Всевышний предупреждал нас о грядущих тяжелых испытаниях...»

Из сумрачного нутра церкви вышли на каменное крыльцо батюшка Александр Яковлев и староста Петр Терентьев. Вид у обоих был строгий, торжественно-мрачный. На дворе и за пределами ограды воцарилась такая тишина, что каждый мог слышать удары собственного сердца. На паперти сегодня не было ни одного нищего – не подходящее время брэнчать оловянными кружками, выпрашивая полушки. Настоятель храма медленным взором обвел толпу и заговорил низким, глубоким голосом:

– Миряне, православные! Великое испытание пришло в наш дом. Неприятель невиданными силами вторгся на нашу землю, антихрист идет разорять и жечь наше Отечество. Прошло время развлечений и праздников. Любезный наш царь-батюшка наипервое всей России обратился к древней столице предков наших, Москве, и каждому из нас, живущих на земле московской. Кто как не Москва покажет пример всем верным сынам России в противостоянии врагам своим? Никогда ранее не было в том вящей надобности, как ныне. Да распространится в сердцах наших дух той праведной брани, какую благословляет Бог и Православная Церковь.

Последние слова батюшка Александр произнес, осеняя свою паству крестным знаменем, пытаясь внушить ей надежду и уверенность в предстоящих победах над злейшим антихристом, посягнувшим на русские православные святыни, богом данную власть и Отечество.

Но грозное предупреждение небес и выпавшее вслед за этим возмездие (за какие такие грехи?), смущало сейчас многих. Видно, не такой уж праведной жизнью мы живем, если всевышние и брэнные силы ополчились на нашу землю. По всему видно – большой кровью придется платить за содеянные прегрешения. Лишь великое смятение могло заставить царя-батюшку обратиться напрямую к народу с сердечной мольбой о спасении государства ...

Тревогой зашлись сердца многочисленной паствы, собравшейся в тот час возле своего храма. Тревога быстро сменилась возмущенным ропотом: «А что же наша армия делает?»

От безысходности бабы на нечаянной сходке осмелели, как никогда. Обычно тихая и незаметная солдатка Елена Борисова (*все имена подлинные – прим. автора*) вдруг вскипела:

– Только в одной нашей деревне с десяток солдаток мается, а по всей России – это сколько бедолаг наберется? Скоро одни бабы в деревнях останутся – и всё им мало.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.